Дискуссия

Михаил Соколов

Социология как чудо. Процесс sense-building в одной академической дисциплине[1]

В статье рассматриваются ритуальные аспекты социологической практики. Основной тезис состоит в том, что производство нового «знания» (что бы под этим ни подразумевалось) не является ведущим фактором при принятии инноваций в социологии (новых методов, жанровых форм, эпистемологических доктрин). В роли такого фактора выступает возможность генерировать смысл академической жизни своих производителей. Этот смысл понимается как производный от «большого нарратива» современной науки с его идеей прогрессивной кумуляции знания, и, соответственно, персонального бессмертия. Историческая социология социологии (Эббот, Каради, Камик) обычно исходит из предположения о том, что эволюция дисциплины в значительной мере направляется поисками внешней легитимности — например, демонстрацией своей «научности» внешней аудитории через овладение математическими методами. Автор выдвигает альтернативную гипотезу, согласно которой имеет значение внутренняя легитимность — способность поддерживать субъ-

Соколов Михаил Михайлович — профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. E-mail: msokolov@eu.spb.ru
Sokolov Mikhail — professor, European university at Saint Petersburg. E-mail: msokolov@eu.spb.ru.

Эта статья выросла из более раннего текста. Значительная ее часть повторяет реплику в журнале «Антропологический форум», 2009, Том 10, озаглавленной «Гоффман, Мэри Дуглас и смысл (академической) жизни: Церемониальные аспекты критических дискуссий в теоретической социологии». Приложение взято из другого текста: «Величие классиков: Скромная попытка преодолеть пропасть между институциональными и интеллектуальными объяснениями», опубликованного в 2007 г. «Мониторинге общественного мнения» (Том 84, №4). Мои благодарности всем, с кем обсуждались более ранние версии этого текста, — слушателям Европейского университета Катерине Губе, Екатерине Дьяченко, Татьяне Земляковой, Алексею Кнорре, Алине Колычевой, Владимиру Кудрявцеву и Лидии Ятлук, а также участникам летней школы «Социальная теория в начале XXI века» в Волховом Мосту.

1 Данная статья вызвала оживленную дискуссию с участием Олега Хархордина и Виктора Вахштайна. Их реплики, а также ответ Михаила Соколова мы публикуем в этом номере — *Прим. ред.*

ективную веру в самих себя как настоящих ученых. В поддержку этой точки зрения приводятся контрфактуальные подтверждения. Если бы социологи были озабочены лишь тем, чтобы обрести респектабельность в глазах внешней публики, они могли бы выбрать другую эксплицитную философию науки (такую, которую делала бы основной референтной дисциплиной биологию, не физику), и развивать иные формы письма (например, культивировать всевозможные визуализации). Автор указывает, что доминирующие сегодня жанровые формы (регрессионная статья и перспективистский учебник) должны рассматриваться по аналогии с религиозными практиками, которые предназначены для разрешения созвучных религии сомнений — избран ли я? — с помощью аскетического действия или экстатического самосозерцания.

Ключевые слова: история социологии, социология науки, социология социологии, микросоциология, Эрвин Гоффман

Mikhail Sokolov
Sociology as a miracle. The sense-building process in an academic discipline

The paper investigates the ritual aspects of sociological practice. It claims that innovations in sociology (such as new methods, genre conventions, or epistemological creeds) are widely adopted if and only if they are instrumental as sense-building devices. Their ability to provide something publicly recognized as «knowledge» is secondary to their ability to provide subjective sense or meaning of academic life of the users. This meaning arises from correspondence to the grand narrative of science with its promise of participation in cumulative progress and, thus, form of immortality. The notion of «sense-bulding» adds an important corrective to historical sociology of sociology›s (Abbott, Karady, Camic) insistence on the central role of strife for external legitimacy as a factor in sociology›s intellectual development. While it is true that sociology adopts statistical methods to affirm its status of «science», it is argued here that the true audience it attempts to persuade by this are sociologists themselves, not natural scientists or lay public. Counterfactual speculations are cited to support this claim. It is argued that have sociologists been primarily obsessed with proving their credibility to outsiders, they would probably adopt other explicit philosophy of science (e. g. implying benchmarking their discipline with biology, rather than physics), and develop other forms of writing (e. g. centered on visualization devices). The genre forms dominant today — the perspectivist textbook or syllabus presenting sociology as a set of «paradigmes» and the regression article are analyzed as similar to ritualistic and ecstatic religious practices in Weberian sociology of religion, which are to dispel internal doubts in the discipline›s being elected for the status of true science.

Keywords: history of sociology, sociology of science, sociology of sociology, microsociology, Erving Goffman

Этот текст ставит перед собой две цели (если дверной доводчик может следовать принципам, то почему бы и тексту не ставить перед собой цели?). С одной стороны, он хотел бы предложить новый

социологический взгляд на интеллектуальную историю социологии. С другой стороны, он надеется, что может ввести несколько понятий, которые позволят найти новый подход к старым проблемам социологии знания. Если таковая надежда оправдана, то эти понятия — автофабрикация и sense-building — могут найти применение и за пределами социологического объяснения социологии. Использование социологического примера в этом смысле удобно лишь тем, что он знаком всем вероятным читателям, и автор может сэкономить некоторое число печатных знаков, предоставив им самим подыскать дальнейшие эмпирические иллюстрации или оценить силу контрфактуальных аргументов. Автор, пишущий о чем-то всем знакомом, может — или даже должен — полагаться на эффект узнавания. Если читателю, чтобы узнать в портрете реальность, в которую он погружен на протяжении большей части своей жизни, требуются дополнительные иллюстрации, значит, портрет вышел не слишком хорошо. Текст, таким образом, можно читать двояко — или как словарную статью с сопровождающими ее поясняющими картинками, или как картинку с сопровождающими ее пояснениями. Поскольку линейность повествования требует этого, мы вынужденно начнем со словарной статьи, а затем перейдем к картинкам.

Модель для сборки ложного сознания

Из двух наших понятий, первое — автофабрикация — нужно, чтобы привлечь внимание к условиям, выполнение которых необходимо для эффективного самообмана, в то время как второе — sense-building — указывает на его цели.

«Автофабрикация» есть очевидная отсылка к фрейм-анализу Гоффмана [Goffman, 1974: 83-122] и попытка дополнить его типологию форм социальной организации небуквальности. Гоффман признает две формы небуквальности — keying и fabrication — основное различие между которыми состоит в том, что в первом случае происходит добровольное и известное всем участникам взаимодействия использование модели какого-то одного типа события для производства другого события, которое внешне сходно с первым, но в действительности является чем-то качественно иным — как в театральной постановке или при исторической реконструкции сражения. Во втором случае некоторые участники события уверены, что его надо понимать буквально, а другие поддерживают в них это заблуждение в злонамеренных (мошенничество) или невинных (розыгрыш) целях. То, что очевидным образом отсутствует в типологии Гоффмана — это некий гибрид, при котором участники события совместно поддерживают друг в друге уверенность в том, что происходит что-то такое, что в действительности не происходит. Клас-

сическим примером может считаться изучение Фестингером и его коллегами [Fetcinger *et al*, 1956] членов религиозной секты, ожидающих вселенского потопа и спасения избранных, т. е. их самих, на летающей тарелке. Исполнение сектантами роли коллективного Ноя было совершенно добровольным. При этом оно — с точки зрения Фестингера и его соавторов — явно вводило их в заблуждение в отношении реального положения дел, иногда с весьма разрушительными последствиями (чтобы примкнуть к секте, надо было оставить семью и освободиться от имущества).

Вопрос о том, как люди приобретают коллективные иллюзии, знаком социологам прежде всего по проблеме происхождения ложного сознания. Если мировоззрение группы определяется ее политическими и экономическими интересами, то как ее членам удается убедить себя в том, что благоприятная для них картина мира правдива? Значительная часть литературы в политической социологии исходит из того, что этот процесс происходит более-менее автоматически. Если вера во что-то представляет наиболее выгодное поведение как справедливое, праведное или эстетически совершенное, то она автоматически приобретается — так капиталист верит в то, что свободный рынок угоден Всевышнему. Однако, хотя примеры корреляции между классовой позицией и идеологическими взглядами присутствуют в избытке, в избытке присутствуют и обратные примеры. Каждый был бы в выигрыше, если бы чувствовал себя любимцем высших сил, избранным для посмертного блаженства. В отличие от классовых идеологий, такая вера не может быть опровергнута столкновением с внешней реальностью (высшие силы не обязаны проявлять себя в ней), и то, что кто-то принимает ее, не мешает другим верить в то же самое, но уже относительно себя (высшие силы могут любить всех и каждого без разбора). Тем не менее, спокойная вера в свою избранность — исключительно редкое дело даже среди религиозных людей (или особенно среди них). Аналогично, теория интересов не может объяснить существования застенчивых подростков и прочих невротиков, которые уверены, что окружающие любят их значительно меньше, чем имеет место в действительности, причиняя тем самым ущерб и себе, и этим окружающим. Чтобы разобраться с этим, нам требуются иные объяснительные механизмы, ответственные за возникновение иллюзорности, помимо прямой трансляции интересов.

Разумеется, перейти к ответу на этот вопрос мы можем, только начав с других вопросов — что такое иллюзия, и откуда люди вообще знают, что что-то происходит «в действительности» или является «настоящим»? Говоря выше об автофабрикации, мы использовали эти слова, как если бы они были непроблематичны — члены секты поддерживают в себе коллективное заблуждение, но мы-то знаем

лучше. Однако во многих отношениях эта простая уверенность дает трещину. Во-первых, можно догадываться, что для каких-то «них» как раз наши представления есть иллюзия. Во-вторых, иногда мы сами не совсем уверены в том, что, как нам кажется, происходящее с нами — на самом деле то, чем кажется. Откуда мы знаем, что мы ходим в настоящий университет, чтобы делать настоящую науку? Книга Людвика Флека [Флек, 1999 (1935)] о мыслительных коллективах показывает, как в экспериментальной микробиологии возникают группы, которые в смысле механизмов поддержания веры в созданную ими реальность, мало, чем отличаются от сектантов. Они коллективно наблюдают явления, которые никто, кроме них, не наблюдает. Они подыскивают множество доказательств, чтобы подкрепить взгляды, которые другие считают курьезными. Реальность большинства таких групп определяется потомками как заблуждение и вычеркивается из истории науки. Внутренне, однако, победившие ничем не отличаются от побежденных.[1] Каждый из них мог бы — и, вероятно, иногда задается — вопросом о том, не находится ли он сейчас внутри автофабрикации. Как можно убедиться в обратном?

Судя по всему, тут есть лишь два пути. Во-первых, можно ориентироваться на последствия. Во-вторых, можно полагаться на то, как выглядит происходящее. Это различение повторяет хорошо знакомое социологам различение эффективности и легитимности из неоинституционалистской теории организаций [Meyer and Rowan, 1977]. Эффективность указывает на большую, по сравнению с другими вариантами поведения, успешность действия в приближении определенных последствий, легитимность — на соответствие действия процедурным нормам, воплощающим принятые стандарты для данной области поведения. Оценка эффективности предполагает, что у действия есть однозначно идентифицируемые результаты. Оценка легитимности предполагает разложение действия на серию выборов между линиями поведения и сопоставление с тем, что считается эталоном.

Неоинституциональная теория организаций основывалась на том, что в отношении целых областей человеческой деятельности мы можем сказать, к какому из полюсов оценки — эффективности или легитимности — они ближе. Спорт, война и бизнес являются

1 Исходно за великим открытием обычно скрывается вера открывателя в то, что вещи обстоят известным образом. Историки науки раскопали множество примеров того, как признанные гении свободно манипулировали фактами, чтобы обратить в свою веру других. Известные примеры — дебаты о том, фальсифицировали ли Эддингтон или Пастер результаты своих опытов, или просто трактовали их непростительно оптимистично в пользу своих воззрений.

тремя прототипическими областями, в которых существует ясно очерченные критерии успеха, не требующие оправданий через ссылку на практическую правильность организации действия.[1] На другом полюсе находится область религиозного опыта, в которой эффективность невозможно установить — во всяком случае, в этой жизни. Там, где критерии эффективности считаются применимыми, им чаще всего отводится доминирующая роль: если битвы выигрываются вопреки тому, что считается законами военной науки, то это обычно служит поводом для ревизии законов — не для оспаривания результатов сражения. Там, где оценка эффективности невозможна, действие можно оправдать только через указание на легитимность его компонентов.

Есть несколько проблем с оценкой эффективности. Одна из них проистекает из неопределенности в вопросе, кто может определять последствия, вторая — из того, когда можно считать, что последствия уже полностью проявили себя. Прежде всего, идентификация опирается на некоторое общее нормативное представление о том, для чего действие предпринимается. Во многих областях такие теории крайне расплывчаты[2], а существующие противоречия не вполне осознаются. В результате есть большой соблазн объявить автофабрикацией любые действия, которые используют те средства, которые используем мы для получения одних целей, чтобы получить другие, и такой же сильный соблазн заявить, что «автофабрикация» — сугубо реляционное понятие, иной способ указать на то, что мы не разделяем чьи-то представления о желаемых результатах. Для тех, кто видит в университетском образовании прежде всего символ принадлежности к высшему классу, введение меритократических экзаменов и упразднение вузовской коррупции превращает это образование в псевдообразование.

От этих проблем можно отделаться, уточнив определение и сказав, что мы говорим об автофабрикации, лишь когда сам автофабрикатор готов признать их таковыми: когда он сам сознает, что может опомниться и воскликнуть: «Я обманулся! », и, соответственно, пытается подстраховать себя от самообмана заранее. Мы будем использо-

1 Во всяком случае, оно не требует дополнительных оправданий после того, как действие завершено. В процессе совершения действия всегда присутствуют ссылки на его легитимность — звучащие вслух, если мы говорим о коллективном действии (генерал должен объяснить своему штабу план предстоящего сражения, не вызвав подозрений в безумии), или развертываемые в мысленном диалоге в ситуации действия индивидуального.

2 Какими должны быть последствия университетского образования для того, чтобы можно было сказать, что это настоящее образование, а не имитация?

вать это понятие лишь когда относительно желаемых последствий действия нет разногласий. Однако, даже когда относительно самой природы этих последствий разногласий нет, их часто невозможно оценить в реальном времени — они могут быть отложены слишком надолго. Тогда остаются здесь и сейчас доступные знаки того, что активность подлинная. В этом случае, всегда есть риск, что знаки будут прочитаны неправильно, и то, что сегодня казалось нам одним, завтра окажется чем-то иным. Здесь возникает вторая проблема. Нет никакого логического предела — ни временного, ни пространственного — до которых последствия должны прослеживаться — и может случиться так, что, если на расстоянии А от самого события оно будет казаться автофабрикацией, то на следующем шаге от А к Б автофабрикация превратится в реальность. Представьте себе колониальную державу, которая решает предоставить колонизированным доступ к высшему образованию и госслужбе. Те устремляются в открывшиеся каналы социальной мобильности и даже испытывают прилив лояльности к метрополии — но лишь чтобы обнаружить через некоторое время, что их устремления были плодом самообмана: служившие ранее пропуском в высший класс отличия перестали быть таковыми, ровно потому, что к ним были допущены они. Разочарование переходит в революционные настроения, и обманутые интеллигенты становятся авангардом националистического сепаратизма. В результате вспыхнувшего бунта, они добиваются независимости и становятся у руля в новом государстве. Университет становится кузницей элиты — но абсолютно не тем способом, который кто-либо мог предвидеть.[1] Лишь на самом последнем шаге — накануне Судного дня — все станет окончательно ясно.[2]

1 Пример очень грубо воспроизводит историю ирландского национализма в изложении Джона Хатчинсона [Hutchinson, 1987].

2 Между буквальной и всеми формами небуквальной реальности — фабрикацией, автофабрикацией, keying — возможны и многие иные типы движения, некоторые из которых подразумевают балансирование между всеми типами сразу. Таких особенно много в художественной литературе определенного свойства, но иногда они попадаются и в нехудожественной прозе. Симпатичный пример принадлежит Виктору Вахштайну [Вахштайн, 2015]. В пост-югославской деревне проходят выборы, которые местные жители, не слишком ответственно относящиеся к электоральному процессу и к своей роли в нем, превращают в праздничное представление, органично переходящее в массовое гулянье с алкоголем. На следующий день, однако, то, что они могли воспринимать как keying (игра в выборы) или фабрикацию (спектакль для международных наблюдателей) внезапно приобретает совершенно новое качество. Поскольку в урну бросали настоящие бюллетени, незадачливые участники представления оказываются на следующие четыре года под командой клоуна, которого они таким обра-

В этом смысле стремление Гоффмана определить фреймы как дискретные образования, в которых то, что происходит, является или тем, или другим, или одним внутри другого, но всегда чем-то определенным в конкретный момент времени — оказывается грубым упрощением. Во многих случаях мы можем говорить в лучшем случае о вероятности того, что нечто окажется одним или другим. Все становится еще сложнее, однако, когда в дело вмешиваются мыслящие существа, которые используют эти возможные варианты будущего как ориентиры для действий, которые помогут тем сбыться или не сбыться. И здесь нам понадобится наше второе понятие — sense-building.

Использование английского, а не русского слова здесь вызвано не только провинциализмом автора, но и необходимостью передать оттенки, которые аналогичный русский неологизм (смыслостроение?), скорее всего, не позволил бы передать. С одной стороны, здесь важна вторая составляющая — building, которая говорит о том, что идентичность события есть коллективное достижение всех его участников. От обоих, явившихся на свидание, зависит, станут ли следующие часы самым романтическим событием их жизни. Смысл не находится, а создается, при этом он создается не только перспективно, но и ретроспективно — прошлое может приобрести иной смысл в свете будущих событий — то, что выглядело как случайная встреча, станет для двоих поворотным пунктом их судьбы.[1] Последствия, о которых мы говорили выше, частично производятся теми, от кого зависит их наступление, для того, чтобы переопределить идентичность прошлых событий.

Другая составляющая нашей формулы — sense — кажется удачной, поскольку указывает и на повседневный смысл (например, смысл предложения), и на Смысл с тем оттенком значения, которое возникает, когда идет речь о «смысле жизни». Мы не будем пытать-

---

зом избрали. То, что могло казаться фабрикацией, ретроспективно превратилось в автофабрикацию.

1 Неологизм sense-building ранее, насколько мне известно, не использовался в социологическом анализе, хотя использовались похожие на него sensemaking (Goia *et al,* 1994). Мне казалось, однако, важным ввести новый термин, чтобы обозначить противопоставление с прежними. Гойя и коллеги имели в виду пассивный процесс в стиле Бергера и Лукманна, при котором агенты решают для себя, кто они и что с ними происходит. Я же имел ввиду активный процесс, при котором они решают, кем они будут. Формулируя это немного иначе, люди могут конструировать реальность двумя разными способами. Они могут сказать «это есть то», а могут — «это будет тем». Первый способ неприложим к нерукотворной реальности, но социальная реальность по определению рукотворна, и если мы находим в ней некоторый осмысленный паттерн, это обычно значит, что она создается, чтобы этому паттерну соответствовать. Данные рассуждения, разумеется, знакомы по этнометодологии.

ся определить его здесь, ограничившись несколькими частными признаками. Мы говорим, что действие, эпизод или какой-то опыт имели смысл, если есть возможность представить себе их как часть какой-то большей истории со счастливым, или, во всяком случае, красивым и благородным финалом.[1]

Лохотрон, наподобие игры в наперстки, является социальным изобретением, которое наиболее безжалостным образом эксплуатирует человеческое пристрастие к ретроспективному созданию смысла. Его жертвами движет надежда, что будущее оправдает неосмотрительное поведение в прошлом, и волшебным образом превратит в историю чудесного спасения то, что на их глазах неотвратимо становится историей позорного разорения. Жертвы сами при этом приобретут с собственной точки зрения и с точки зрения окружающих совершенно новый характер: из беспечных неудачников они станут искателями приключений.

И здесь мы возвращаемся к типам небуквальности у Гоффмана. То, что задумывалось как фабрикация со стороны мошенника, может — если тот вдруг испытает неожиданное угрызение совести или прилив иного чувства — превратиться в реальность (брачный аферист, влюбившийся в свою предполагаемую жертву). Фабрикатор, который решает стать тем, кем он лишь притворялся, представляет одну из центральных тем западной литературы, от Беккета до О'Генри.

Еще сложнее роль автофабрикатора, или, вернее, того, кто колеблется на грани признания себя таковым. Кажется, что для многих видов активности, признание ее самообманом почти фатально и превращается в самоисполняющееся пророчество, даже если исходно оставались шансы ее преображения в буквальную реальность.

1 Определить «смысл жизни» может быть не менее сложным предприятием, чем найти его. Виктор Франкл, написавший бестселлер 1960-х о «логотерапии» (Франкл, 2012 [1985]), во всяком случае, не смог дать никакого определения. Вместо этого он привел иллюстрацию (с. 224-225): «однажды пожилой врач-терапевт стал советоваться со мной по поводу своей тяжелой депрессии. Он не мог справиться с горем по поводу смерти жены, умершей два года назад, которую он любил больше всего на свете. Как я могу ему помочь? Что я должен ему сказать? Я воздержался от прямых утешений, а вместо этого спросил: „Что было бы, доктор, если бы вы умерли первым, и вашей жене суждено было бы пережить вас?“ „О, — сказал он. — Для нее это было бы ужасно; она бы так страдала!“ Я ответил: „Вот видите, доктор, такое страдание ее миновало, и это вы избавили ее — ценой того, что пережили ее и оплакиваете ее.“ Он не сказал ни слова, только пожал мне руку и вышел из кабинета. В какой-то мере страдание перестает быть страданием в тот момент, когда оно обретает смысл — смысл жертвоприношения». То, что мы видим здесь — это предложение переопределить событие жизни через его последствия, так, чтобы то, что воспринималось как трагический удар слепой судьбы, превратилось de facto в героическое самопожертвование.

Отказавшись играть дальше с предполагаемым мошенником, можно сохранить остатки денег, но не надежду выиграть. Тем самым, слишком поспешно признавший событие автофабрикацией несет ответственность за то, что оно стало таковой (а вдруг мошенник оказался бы в итоге не мошенником?). Кажется, что во многих ситуациях колебания определяются внутренней борьбой между потенциальной виной (если был шанс спасти ситуацию) и стыдом (если его не было, и упорство лишь свидетельствовали о недалеком уме) в гораздо большей степени, чем уроном от возможного самообмана в чистом виде. Обычной линией поведения для тех, в ком побеждает вина, становится интенсификация «правильного» поведения в отчаянной попытке спасти ситуацию. Это приводит нас к социологии.

Далее в этой статье мы рассмотрим представителей глобальной социологии как пример группы, которая в своей динамике в значительной мере направляется автофабрикационными тревогами. Мы рассмотрим, в частности, какие формы защиты от них существуют, и какие вторичные риски возникают, когда эти формы защиты становятся определяющими для интеллектуальной динамики.

Три модели написания истории социологии — и еще одна

Есть три основных модели написания интеллектуальной истории социологии. Первая из них, наивно-эпистемологическая, представляет ее хроникой проб и ошибок, сделанных в поиске нового знания. Вторая, происходящая из социологии знания, предлагает видеть в текстах социологов бессознательный прорыв социального опыта или классовых интересов их авторов. Она исходит из того, что у текстов есть двойное дно, о котором ничего не было известно их создателям, и цель историка состоит в том, чтобы обнаружить его. Книги Гоулднера [Gouldner, 1970] и Рингера [Рингер, 2008 (1969)] являются самыми значительными памятниками этого направления мысли. Третья модель берет свое начало в политической социологии или социологии организаций. Она сходна со второй в том смысле, что также предполагает, что у социологического текста есть двойное дно, но для него это двойное дно представляет собой не бессознательное целого класса, а интересы той более узкой академической групп, которую представляют авторы. Самые известные работы такого рода посвящены тому, как классики социологии легитимировали существование своей дисциплины, придавая ей черты, которые должны были обеспечить в глазах внешних аудиторий статус «настоящей науки» [Camic, 1995; Каради, 2004]. В гоффмановских терминах, здесь социология предстает фабрикацией, предназначенной обмануть «общество» в целом или свое ближайшее академическое окружение.

В этой статье, как читатель уже понял, представлена еще одна, четвертая модель, согласно которой социология в значительной мере направляется автофабрикационными страхами, и ее направляющим мотивом является придание смысла академической жизни, собственной и своих дисциплинарных предков. Наш тезис заключается в том, что история социологии может пониматься как история лохотрона с той разницей, что в ней не было мошенников, а лишь более-менее добровольные жертвы. Она имеет нечто общее с каждой из трех упомянутых выше, но, вместе с тем, отличается от них. Наиболее схожа она с последней, поскольку также предполагает, что основным источником интеллектуальной динамики социологии является утверждение ее статуса в качестве настоящей науки. Различаются лишь представления об аудитории, в глазах которой этот статус должен утверждаться. В этой статье мы будем исходить из предположения, что социологи хотят доказать научность своей дисциплины, прежде всего, самими себе, а не тем, от кого они зависят экономически и административно. Они больше похожи на утративших и пытающихся вернуть себе веру священников, чем на продавцов заведомо неисправных пылесосов. Между этими подходами нет обязательного эмпирического противоречия — во многих случаях попытки утвердить свою легитимность в собственных глазах, и в глазах окружающих диктуют сходное поведение. Некоторые факты из истории социологии, однако, невозможно понять, если видеть ее как представление себя научной дисциплиной, обращенное вовне. Необходимость убеждать себя накладывает некоторые дополнительные требования, которые отсутствуют, если мы предполагаем, что задачей является циничное введение в заблуждение других.

Далее, в нашей, как и в первой, наивно-эпистемологической модели, предполагается, что социологи принимают науку всерьез, и любое объяснение, указывающее, что они лишь притворяются — вольно или невольно — учеными с некими вненаучными целями, будь то личное процветание или интересы своего класса, по меньшей мере, недостаточно. Причины интеллектуальной деятельности лежат внутри, а не вне ее. Меняется лишь представление о доминирующем мотиве. Ученые наивно-эпистемологической модели исследуют, чтобы что-то узнать. Ученые нашей модели узнают, чтобы продолжать чувствовать себя учеными. Наконец, как и в модели, вдохновленной социологией знания, мы думаем, что ученые движимы смыслами, принадлежащими сфере культурного бессознательного, но мы предполагаем, что это бессознательное не имеет сколько-нибудь выраженной классовой природы.

Как можно ожидать, каждая из моделей предлагает ответ на свой круг вопросов, которые пересекаются с аналогичными кругами

других моделей лишь частично.[1] Главный вопрос, на который должна ответить наша, четвертая модель, и на который не способны дать достаточный ответ три другие — это почему социология вообще сохраняет свою идентичность как целостная дисциплина? Как получается, что мы продолжаем воспринимать ее как особую сущность, выделяющуюся из интеллектуального фона? Какие черты ассоциируются с этой сущностью в разные периоды ее существования, и как получается, что, хотя список этих черт изменился до неузнаваемости, сама сущность продолжает распознаваться нами?

Самое простое, наивно-эпистемологическое, объяснение состоит в том, что социология в действительности обладает неким стабильным интеллектуальным содержанием — предметом изучения, методом или стилем работы, набором установленных фактов. При ближайшем рассмотрении, однако, она предстает перед нами совершенно иначе — как последовательность не связанных друг с другом проектов, по большей части, терпящих безоговорочный крах. История социологии похожа на историю секты, пророчества которой раз за разом не сбываются. В 1808-м Сен-Симон в «Записке о всемирном тяготении» обещал создать социальную физику «до конца этого года». Маркс предсказывал будущую революцию. Конт и Дюркгейм считали своим высшим достижением универсальную теорию социальной эволюции, в которую при их жизни не верил никто, кроме секты их учеников — а после Первой мировой войны не верил никто вовсе. И даже гораздо более скромные в своих претензиях представители движения социальных обследований, тем не менее, предполагали, что будут заниматься производством статистических фактов, которые в дальнейшем могут быть обобщены и послужат основанием для выведения общесоциальных законов. Но даже этой надежде не суждено было сбыться. Если научное исследование, по латуровскому определению, завершается появлением на свет фактов как высказываний, признанных отражающими истинное положение вещей вне всякой связи с контекстом или про-

1 Можно ли прочитать хоть в одном учебнике что-нибудь вроде «структурный функционализм потерпел крах, поскольку не согласовался с результатами исследований, проведенных N., M. и O.»? В лучшем случае, мы, в духе классической социология знания, читаем, что он вышел из моды, поскольку не соответствовал настроениям 1960-х (хотя и, парадоксальным образом, позволял объяснить их лучше, чем любая теория, порожденных самими 1960-ми). Сама социологии знания может что-то сказать о динамике социологии, но лишь очень избирательно, в основном по поводу отдельных сторон этой истории, таких, как преобладание метафорических образов или излюбленных тем (противостояние культуры, механической современности и мандаринов Рингера).

цессом их появления [Latour & Woolgar, 1979] — то социологии, видимо, не удалось произвести ни одного научного факта за всю свою историю, не считая ряда простых распределений, которые, однако, обязаны своим появлением скорее статистике. Социология добавила только неопределенность по поводу их значения.[1] Восстав сегодня из мертвых, любой социолог старше Вебера (включая и Зиммеля, но по иным причинам), должен был бы признать, что их интеллектуальный проект потерпел полное фиаско.[2] Те последствия, которые для них были синонимичны ее успеху, так и не наступили.

Я не могу предложить ясного ответа на вечный вопрос, «почему?» все эти проекты оказались столь безуспешными. Дело, возможно, в том, что просто пока никто не обнаружил ни одного способа производить факты о социальном устройстве, а может быть, его и не существует вовсе. Я попробую, однако, дать ответ на вопрос о том, почему социологический проект не закончился ни в конце позапрошлого и начале прошлого века (когда, к слову сказать, действительно имел место повсеместный спад социологической деятельности [Shils, 1970; Turner and Turner, 1990], ни позднее. Глядя на вещи наивно-эпистемологически, может показаться, что проект вообще должен был закрыться, возможно, начавшись затем с чистого листа, но уже под другим названием и без всякого почтения к тем, кого мы считаем «классиками». Этого, однако, не произошло; за спадом последовал подъем, ассоциирующийся с Парсонсом, Мертоном и Лазарсфельдом, в результате которого социология вновь распространилась из Штатов по всему миру. Частью этого подъема было стало составление пантеона классиков, стремления которых были переосмыслены таким образом, что их труды сохранили свою ценность, путь даже и не выполнив изначальных обещаний, а классики вообще не понимали, в чем ценность их работы состоит. Некоторое время спустя та же самая участь постигла и самого Парсонса с компаньонами.

Почему следующие поколения социологов отказывались считать своих предшественников жертвами автофабрикации (и почему они вообще соглашались считать их своими предшественниками[3])? Мо-

1 Бруно Латур обещал научить нас производить факты, подобно микробиологам, но затем передумал и ушел внедрять индексы цитирования во французский аналог Высшей школы экономики.

2 Интересно понять, счел бы Вебер, что его проект не удался, окажись он среди нас сегодня. Как минимум, он бы, видимо, очень удивился, встретив профессиональных социологов, которые одновременно — и в первую очередь — не были историками или политическими комментаторами.

3 Это особенно интересный вопрос в свете того, что степень реального, а не ретроспективно сконструированного, наследования идей от 1910-х к 1950-м выглядит предельно незначительной.

дель социологии-как-фабрикации предлагает нам один возможный ответ на этот вопрос, хотя и довольно слабый. Дисциплина является веберовской статусной группой. За счет (предполагаемой) специфичности образа мысли, она апроприирует доступ к социальным благам — позициям на факультетах, исследовательскому финансированию, гонорарам экспертов. Видимость научности поддерживается, чтобы обеспечить легитимацию своей монополии. Пол Старр и Эндрю Эбботт представили классические версии этого аргумента в отношении академических дисциплин [Starr, 1982; Abbott, 2001].

С этой точки зрения сохранение претензий на научность есть экономическая стратегия, своего рода операция прикрытия. Хотя социология как интеллектуальный проект на разных этапах терпит крах, люди и институции, ассоциированные с ней, остаются. Поскольку они действуют как экономически ориентированные оппортунисты, то крах причиняет им сильное беспокойство, но не вызывает экзистенциального потрясения. Чтобы доказать, что они все-таки наука, они делают хорошую мину при плохой игре и начинают старательно коллекционировать внешние атрибуты научности, должные ввести несоциологическую аудиторию в заблуждение. Кроме того, они изобретают и всячески пропагандируют релятивистские теории науки, которые должны поставить их и настоящих ученых, например, физиков, на одну доску. Наконец, они ретроспективно переосмысляют работу своих предшественников и учителей, поскольку иначе придется отказаться от институциональных завоеваний.

Нет сомнения, что многие физики именно так и видят социологию, в особенности те ее разделы, которые известны как «социальные исследования науки» (science studies или social studies of science). В этой картине, однако, есть три обстоятельства, которые мешают уму социолога на ней успокоиться. Во-первых, разумеется, ее сложно применить на самого себя. Предполагать, что чужое сознание ложно и лишь прикрывает корыстные интересы, проще, чем думать так же о своем сознании. Как минимум, тут остро ощущается потребность в самостоятельном объяснении того, что мы не чувствуем себя мошенниками. Объяснение социологии как фабрикации требует параллельного объяснения того, как возникает точно подогнанная к ней автофабрикация. Во-вторых, хотя оно объясняет, почему социология продолжает воспроизводиться после своей экспансии в 60-х, остается неясным, почему социологическое предприятие пережило спад 20-40-х годов, когда необходимость оберегать институциональную территорию стала менее острой, поскольку резко сократилась сама территория. Кажется, что хорошей символической стратегией тут было бы как раз дистанцироваться от своих предшественников, оставив их в прошлом.

В-третьих, хотя теория фабрикации может объяснить, почему после 60-х социология вообще продолжает существовать и настаивать

на своей идентичности как целостного интеллектуального предприятия, она не может объяснить преобладание конкретных форм социологической работы. Чтобы добиться признания в качестве ученых, социологам надо было бы делать абсолютно не то, что они делают. Вот несколько контрфактуальных примеров. Доброжелатели из числа представителей социальных исследований науки неоднократно утверждали, что, для того, чтобы быть наилучшим образом воспринятой массовой аудиторией, социологии нужен был бы другой образец, чтобы публично равняться на него, не экспериментальная физика [Collins and Pinch, 1998]. Этим образцом могла бы быть эволюционная биология или медицинская наука с их гораздо менее жесткими требованиями к математизации и предсказательной силе. Кроме того, социология могла бы позиционировать себя как в основном описательная дисциплина, развивать всевозможные методы визуализации и эксплоративную статистику вместо деривационной статистики. Она должна была, в таком случае, с восторгом воспринять пришествие мощных компьютеров и эпоху Big Data. Наконец, она могла бы пойти самым простым путем и стать тем, чем большинство доброжелательных обывателей ее, собственно, и считают — продолжением социальной статистики или индустрией изучения общественного мнения. В последнем качестве, она могла бы даже приобрести перформативность, которая приписывается исследователями науки экономике, создавая собственный объект изучения [McKenzie et al., 2008]. Однако, хотя отдельные группы внутри социологии пропагандировали каждый из этих путей, большинство не пошло ни по одному из них. Социология продолжила настойчиво сравнивать себя с физикой вместо гораздо более податливой биологии; она продолжала использовать регрессии и с презрением относиться к визуализациям (самый беглый взгляд покажет, что в AJS масса таблиц и почти не бывает картинок); наконец, социологи смертельно обижаются, когда их считают всего лишь специалистам по опросам. Невозможно объяснить, почему все эти благодатные возможности были проигнорированы, если задачей была лишь генерация внешней легитимности.

Четвертая модель, вводимая в этом тексте, предположительно, может объяснить выбор интеллектуальных игр, в которые играют социологи. Кроме того, она проще и изящнее модели фабрикации, поскольку не требует объяснять, как параллельно с фабрикацией возникает симметричная ей автофабрикация.

Мое предположение состоит в том, что поддержание статуса социологии как самостоятельной научной дисциплины является могущественным ритуалом, наделяющим участников ощущением смысла собственной жизни. Первичным стимулом для участия в нем выступает соответствие экзистенциальным, не экономическим нуждам. Присоединение к ритуалу может объясняться совер-

шенно не-утилитарными мотивами. Вся эта работа производится в первую очередь для себя, а не для того, чтобы легитимировать свою работу в глазах всевозможных других, обеспечив ей экономическую и административную поддержку. Социологи не просто хотят убедить других в своей научности. Они сами хотят верить в нее, и, к чести их будет сказано, между изобретениями, которые обещают успешнее обмануть других, и изобретениями, которые позволяли успешнее обмануть себя, они обычно выбирают вторые.[1]

Наука как sense-building-машина

Стремление социологии быть наукой можно понять. Естественные науки, в некоторых отношениях, являются самой совершенной из машин по производству Смысла — с большой буквы — созданных человечеством. Они предлагают тем, кто с ними соприкоснулся, роль приобщенного к космическим тайнам. Они обещают участие в процессе накопления знания, где вклад каждого, сколь скромным бы он ни был, не пропадает бесследно. Сэр Карл Поппер заметил, что после заката организованной религии наука остается единственным институтом, который не стесняется обещать современному человеку разновидность бессмертия. Государство-нация может считаться его конкурентом в этом смысле (здесь проявляется их сходство), но во многих отношениях конкурентом более слабым. У науки не бывает *неизвестных* солдат. Каждый входит в историю вместе с указанием позиции, которая была им или ею завоевана. Обратной стороной производства научных фактов является производство смысла жизни их производителей. Осмысленность существования — как минимум не менее привлекательная сторона академической профессии, чем то, что она предлагает оптимальную комбинацию комфортности условий труда, оплаты и престижа, на которую может претендовать молодой человек со средними способностями из подходящей социальной среды.

Вообще говоря, на словах большинство ныне здравствующих социологов не согласны с тем, что их дисциплина должна стремиться стать подобием физики или химии. Именно так большинство из них и скажет, если к ним подойдут с анкетой и зададут соответствующий вопрос.[2] Однако декларативный антисциентизм по-

1 Автору, как и многим социологам, кажется, что те, кто предпочитал обманывать других, пополняли ряды экономистов. Разумеется, это может быть просто выражением классовой зависти.

2 На вопрос, согласны ли они с тем, что социология должна стать «естественной наукой как физика и химия», из 251 опрошенного петербургского социолога полностью утвердительно ответили 10%, скорее согласились 18%, скорее не согласились 34%, и полностью не согласились 26% (12% затрудни-

добного рода обычно благополучно сосуществует с гораздо глубже укорененным сциентизмом, проявляющимся, когда дело доходит до оправдания собственного существования. В случае социологии само разоблачение претензий естественных наук на универсальное высшее знание легко встраивается в хорошо узнаваемое грандиозное повествование о движении от тьмы к свету, в котором автору и его единомышленникам удалось впервые (приоритет здесь очень важен) взглянуть реальности в лицо.[1] Аналогично, наполняющие профессиональную периодику призывы к социологам не уподобляться физикам и говорить с простыми людьми на их языке, подспудно укрепляют читателей в уверенности, что они-то вовсе не являются простыми людьми. Публичная социология, эксплуатирующая образ социолога-просветителя масс, может служить отличной иллюстрацией того, насколько глубоко укоренено среди социологов сознание исключительности и вознесенности над другими, связанное с принадлежностью к миру науки. Ни один из ее апологетов, насколько мне известно, не настаивал на практическом упразднении границы между публичной социологией и журналистикой, хотя кажется, что именно исследовательская журналистика является воплощением ее политической программы.[2]

Если мы предполагаем, что для социологов наука представляет собой, в первую очередь, машину по производству Смысла, становится понятно, почему именно физика послужила универсальной моделью, и социология не соглашалась считаться социальной статистикой, эволюционной биологией или, упаси Бог, исследовательской журналистикой, даже если бы ее восприятие внешней аудиторией стало бы за счет этого благосклоннее. Снижение требований к абсолютности кумуляции знания исключает способность производить бессмертие.

лись с ответом, данные округлены до целых) (см. описание исследования в Соколов и др., 2010).

1 Я с трудом удержался от длинных цитат из science studies. В отношении многих из них почти невозможно поверить, что они пишутся без тени самоиронии, но, кажется, обычно это действительно так.

2 Граница социологии с журналистикой вообще интересна именно своей непроблематичностью: судя по неиссякающему потоку рассуждений о «месте социологии в системе наук», рубежи с другими социально-научными дисциплинами всегда воспринимались социологами как требующие демаркации и постоянной защиты. Граница с журналистикой не обсуждалась, однако, в известных мне статьях и предисловиях в этом контексте ни разу. Пока мы глубоко убеждены в том, что нас (ученых) и их (журналистов) разделяет столь большая дистанция, наша тайная вера в поднимающую нас над другими силу науки крепка.

Помимо приглашения принять участие в общем движении к свету, наука дает опыт чудесного. Чудо нарушает наши обыденные представления о вероятном, но, разрушая знакомый порядок, обнаруживает существование другого, высшего порядка. Успешный эксперимент, завершающийся производством научного факта, творит сразу несколько чудес. С одной стороны, он опровергает наши представления о правдоподобном — вещи ведут себя не совсем так, как мы ожидаем.[1] С другой стороны, разрушая один порядок, он создает другой, проливая свет на некую более глубокую закономерность. Железные крошки вдруг ведут себя несвойственным им образом, выстраиваясь в дуги между магнитами — но тем самым они обнаруживают присутствие невидимого и вездесущего магнитного поля. Само по себе, существование незримого порядка укрепляет веру в осмысленность бытия — если мир, при ближайшем рассмотрении, столь упорядочен и прекрасен в своей закономерности, то может ли быть, чтобы все происходящее с нами было лишь серией хаотических случайностей?[2] И даже если в последние десятилетия критическая социология научного знания [Флек, 1999 (1935); Collins, 1975; Lynch, 1999] указала, что эти чудеса являются лишь тем, кто расположен их признать в этом качестве, собственный опыт чудесного, приобретаемого сообществом верующих, в результате не ослабевает.

Чудом другого, социологического свойства, сопутствующим успешному эксперименту, является то, что вовлеченные в него люди также ведут себя необычным, но также возвышенным и прекрасным образом. Из нашего обыденного опыта мы знаем, что индивидам несвойственно приходить к согласию по какому либо поводу, выходящему за пределы непосредственно воспринимаемого их зрением и, отчасти, слухом. Невидимый порядок, лежащий за пределами зримого, обычно становится поводом для ожесточенных разногласий, политических столкновений или религиозных войн. Способность мирно договориться о том, чего не видит глаз, способность одного из спорщиков признать свое поражение и чужую правоту сами по себе могут считаться чудом. Опять же, неудивительно, что физика, в (отчасти мифологической) истории, где все эти свойства наиболее проявлены, повсеместно рассматривалась как единственный достойный образец.

В этом смысле в том, что с первого дня своего существования социология знала, что должна быть наукой об обществе, нет ничего уди-

1 Во всяком случае, таковы эксперименты, с которыми ассоциируется наука с обывательской точки зрения. Большинство социологов в любом случае не имеют личного опыта соприкосновения с нею.

2 Ньютона и многих до и после него эта вера привела к оккультным наукам.

вительного. Стать таковой было целью ее существования. Есть принципиальное различие между «умышленными» и «неумышленными» науками. Физика является неумышленной наукой. Она никогда не стремилась стать «наукой о природе», наоборот, наша идея наук о природе возникла из размышлений о том, чем она, в итоге, оказалась.[1] Напротив, социология на протяжении всего своего существования знала, чем она хочет быть, но страдала от неуверенности, правда ли таковой является, или хотя бы может ли стать в перспективе.

Как и в модели фабрикации, фундаментальным фактом здесь оказывается то, что проект социальной науки в целом начался — а индивидуальные карьеры в ней часто начинаются до сих пор — с намерения нечто открыть, изобрести или доказать, действуя по аналогии с естественными науками. Разочарование приходит, когда и дисциплина, и индивиды в ней сделали слишком большие ставки — в большей степени экзистенциальные, чем экономические, и просто выйти из игры уже невозможно; на ныне здравствующих, кроме того, лежит ответственность перед их предшественниками поддерживать начатый теми проект, не позволяя ему ретроспективно превратиться в автофабрикацию.

Ставя себя на их место (как будто мы уже не находимся на нем), мы обращаемся к нашей исходной проблеме, возникшей на уровне целой специальности: как можно убедиться, что наша активность не является автофабрикацией, и как нам вести себя, чтобы она не стала таковой? Как мы можем знать, что то, что мы делаем — это настоящая наука? Мы уже упоминали два вида существующих тут ключей. С одной стороны, можно опираться на последственность, с другой — на видимость происходящего здесь и сейчас.

По причинам, о которых говорилось выше, последственность дает не слишком ценные указания. Существует множество отчасти противоречащих концепций, говорящих о том, по каким последствиям можно опознать присутствие науки. Практически любая из них или исключает из рассмотрения некоторые из признанных наук, или включает некоторые из признанных ненаук. Привычный обывательский ответ на вопрос о критериях демаркации — развитие соответствующих технологий. Однако многие самые настоящие науки (включая во многих отношениях первую — астрономию) не связаны напрямую ни с какими технологиями, и, в любом случае, есть неясность по поводу того, что составляет технологию (входит ли сюда опросная методика?), как может быть измерена ее связь с научной теорией или есть ли порог эффективности, который

1 Чем является математика, никто не знает до сих пор, но это не особенно интересует большинство тех, кто с удовольствием ей занимаются.

эта технология должна преодолеть, чтобы приниматься к рассмотрению. Другой класс последствий — это валидные предсказания. Предсказания, однако, также являются не слишком хорошим критерием. В одних дисциплинах не вполне ясно, что может считаться «предсказанием» (математика), в других — они обладают невысокой точностью на сколько-нибудь дальних дистанциях (геология или климатология). Хотя первые классики социологии ориентировались именно на такие критерии, то, что поставленной цели не удалось достичь, не стало для их наследия смертельным ударом.[1]

Если последствия не годятся, то остается «здесь и сейчас» академической практики. Тут у того, кто хотел бы делать что-то «по-настоящему», есть два источника сведений о том, как это «настоящее» устроено. Во-первых, есть наблюдения за тем, как все происходит в случаях, относительно которых нет сомнения — как выглядит настоящая физика, дружба или религиозный энтузиазм глазами наблюдателя. Во-вторых, есть отчеты участников событий об их внутренних состояниях. Каждый из этих источников сведений несовершенен. Внешнее наблюдение не позволяет отделить второстепенные элементы происходящего от сущностно-важных (какую роль в науке играют шапочки и мантии выпускников?). Следуя по второму пути, мы сталкиваемся с тем, что словарь эмоций, который культура предоставляет в наше распоряжение, чрезвычайно беден — по крайней мере, по сравнению с богатством самих эмоций. Чтобы сравнить свои переживания с переживаниями физиков или других «настоящих ученых», большинство социологов располагает лишь воспоминаниями об опытах в школьной лаборатории, результатами наблюдений за коллегами в межфакультетских пространствах и сведениями из массовой культуры. Известно, что научному открытию сопутствует изумление и ощущение новизны, известно, что ученым полагается что-то оживленно обсуждать. Недостаток любопытства или увлеченности заставляют индивида усомниться в том, что он делает науку, и, тем самым, что в его академическом существовании есть какой-то смысл. Однако существуют много способов испытать любопытство или увлеченность, или убедить себя, что то, что испытываешь, является таковыми.

Тем не менее, никаких иных путей, помимо двух этих крайне несовершенных, нет. Основной тезис этой статьи состоит в том, что социология — как частный случай деятельности спорной бук-

1 Ни одна из более академических теорий науки не предлагает критериев и такой степени ясности, и, кроме того, не удовлетворяет всем критериям научности, следующим из нее самой (как можно верифицировать верификационизм или фальсифицировать фальсификационизм?), и поэтому не обладает принудительной силой.

вальности — развивалась в направлении, которое диктовалось потребностью снова и снова получать признаки своего спасения или избранности. Интеллектуальная динамика социологии представляла собой серию экспериментов с инновациями, которые должны были соединять или внешнее, или внутреннее соответствие идеалу, или, предпочтительнее, и то, и другое сразу.

Хотя идеальный путь соединял бы воедино внешнюю видимость и субъективное переживание, он обычно оказывался недоступен, а существующие решения тяготеют к одному из полюсов, которые можно назвать «ритуалистическим» и «экстатическим». Эти решения, как следует из названия, имеют параллели и в иных сферах, зависящих от in situ генерации смысла, например, в веберовских формах религий спасения.[1] Ритуалистический путь подразумевает по возможности точную, даже утрированную имитацию внешних форм действий, ассоциирующихся с успешной наукой (см. статью Катерины Губы в этом номере) при некотором смягчении требований к внутренним переживаниям. «Позитивизм» в традиционном социологическом смысле этого слова — сочетание математических методов и жанровых конвенций, заимствованных из естественных наук — попадает в эту рубрику.

Вторым путем является поиск надлежащего субъективного опыта при отказе от внешних форм. Эволюция теоретической социологии в основном шла по этому пути. Мы попробуем показать эта на примере двух главных аргументативных игр современной социологии — регрессионной эмпирической и перспективистской теоретической — которые являются воплощениями этих стратегий.[2] Аргументативные игры не являются строго взаимоисключающими; классическая гипотетико-дедуктивная композиция регрессионной статьи (мы извлекаем из разных теорий следствия, которые затем операционализируются и тестируются с помощью статистики) предполагает наличие дискретных теорий, которые, правда, обычно являются теориями среднего уровня, и поэтому не считаются изолированными монадами. Наоборот, перспективистское теоретизирование требует некоторого сравнения теорий, пусть и не на уровне тестирования, а на уровне экспликации, исходя из базовых предпосылок. Тем не менее, между играми и игроками

1 У Вебера мы находим базовую оппозицию «аскетического» и «мистического» (или «мистико-экстатического») и «активного» и «созерцательного» (1994 [1916]).

2 Мы говорим об аргументативной игре, подразумевая более-менее конвенциональную совокупность риторических ходов, наступательных, оборонительных и иных (см. далее), которые можно усвоить, наблюдая за игроками, и продолжать самостоятельно с любой точки. Аргументативной игре соответствуют жанры и жанровые наборы, до которых мы дойдем ниже.

в них есть очевидное различие, и мы рассмотрим крайние случаи, не останавливаясь на промежуточных формах.

Ритуалистическое движение и развитие «позитивистской» социологии

Ритуалистическое движение обеспечивает диффузию институциональных и символических форм, которые должны утвердить сходство социологии с «настоящими науками». В терминах институциональной теории организаций, мы можем сказать, что институциональный изоморфизм является средством диффузии легитимности [Meyer & Rowan, 1977]. Действуя по образцу, мы ощущаем, что наши поступки имеют тот же смысл и ту же ценность, что и поступки объекта подражания [Podolny, 2005]. Здесь есть, однако, одна важная оговорка. Диффузия легитимности — во всяком случае, внутренней, обращенной на себя самого — происходит, только если мы верим, что предпринимаем действия по образцу в силу внутренней необходимости, не в силу сознательного подражания. Каждый университетский профессор, задумчиво прогуливающийся по газону на кампусе, может чувствовать, что его работа озарена частью осмысленности, исходящей от работы Эйнштейна (особенно остро ее ощущают те, кто является на рабочее место с трубкой в зубах в подчеркнуто небрежном виде) — но по-настоящему этот эффект может сказаться, лишь если он считает, что небрежность, задумчивость и курение трубки пришли к нему без всякого сознательного решения походить на создателя теории относительности, в силу общности внутренних диспозиций.

Ритуалистическое движение подталкивает социологию к освоению институциональной структуры, созданной для нужд чудотворных и фактопроизводящих естественных наук, однако это освоение подразумевает изобретение и распространение аргументативных игр, которые органично ложились бы в эти формы, даже заставляли воспринимать их вне всякого самостоятельного стремления в них уложиться. Неспособность предложить содержание для институциональных форм, созданных для нужд «настоящих» наук, дискредитирует дисциплину в качестве научного предприятия. Напротив, обживание этих форм служит доказательством, что социология является такой же наукой и, вероятно, занимает в отношении социального мира то же почетное место, которое естественные науки занимают в отношении мира природы. Следовательно, социологи обречены читать лекции на факультетах и проводить исследования в лабораториях, собираться на конференции, высылать статьи заданного размера и фиксированной композиции в редакции, создавать учебники по заданным шаблонам, составлять по общим педагогическим конвенциям учебные планы и готовить авторефераты, в которых фигурировала бы

таинственная «апробация работы». Именно эти формы, с ритуалистической точки зрения, определяют границы между «научным» и «ненаучным» виденьем социальной реальности, где научным становилось то, что в них поместилось, а ненаучным — все остальное.

При этом, важно — повторим еще раз — чтобы поиск содержания для этих лекций и семинаров не давался специальным усилием. Исторически социология приветствовала те аргументативные игры, которые позволяли ей не просто укладываться в институциональные шаблоны, но делать это с комфортом. Положение социологов сродни положению веберовского протестанта, который ищет в собственной поглощенности рутинным трудом доказательств космического единства с Божьим замыслом, и, тем самым, знак своей избранности.[1] Социологам требуется не просто обживать институциональные формы, но чувствовать себя в них на своем месте.

Они отбирают поэтому те модели работы, которые позволяют им походить на настоящих ученых, прикладывая к этому минимум целенаправленных усилий. Рассказанная Эндрю Эбботом история превращения многомерной регрессии в основной метод анализа социологических данных, «регрессионного теоретизирования среднего уровня» — в доминирующую игру, а регрессионной статьи — в доминирующий жанр, удачно иллюстрирует этот тезис. Регрессия опирается на множество предпосылок относительно анализируемого объекта, которые сами по себе выглядят достаточно неправдоподобными [Abbott, 1988]. Она обладает, однако, огромными преимуществами как сюжетообразующий прием: во-первых, текст, обрамляющий регрессионную статью, идеально соответствует формату академической периодики. Он легко приобретает нужную длину; он сам собой приобретает формы, которые ассоциируются с научной прозой (вопрос, сформулированный в терминах влияния зависимых переменных на независимые, обзор работы предшественников, из которой вытекает набор альтернативных гипотез). Во-вторых, любой основанный на регрессии нарратив неизменно запускает дискуссионную секвенцию («а проконтролировали ли вы по X...? »), которая выглядит необычайно научной и располагает к оживленному участию, хотя бы и в силу причин, связанных не с любопытством, а со стремлением продемонстрировать осведомленность, поддержать оратора или, наоборот, поставить его в затруднительное положение. В-третьих, развитие такой дискуссии воплощает представления о кумуляции научного поиска, который

1 Имеется в виду теологически искушенный протестант, который знает, что мирской успех сам по себе не может быть достаточным знаком; необходимо быть в гармонии с отведенным тебе местом в божественном плане.

позволяет носителю даже самых средних способностей внести вклад в общее предприятие.

Подобная дискуссия не столько производит факты (в конечном счете, кажется, все всегда упирается в неизмеряемые переменные и общую потерю интереса к проблематике[1]), сколько убеждает, что виденье дисциплины как научного предприятия, транслируемое ею вовнутрь и вовне, соответствует действительности. Ее основной целью является не передача информации, а воспроизводство концепции происходящего как ситуации, в которой происходит обмен научными мнениями. То, что Гоффман назвал «церемониальным» аспектом взаимодействия, господствует над «субстантивным» [Goffman, 1955], т. е. создание идентичности господствует над созданием фактов. Не производя фактов, такая дискуссия внешне неотличима от дискуссии в фактопроизводящих науках и ведется с подлинным оживлением; не обретая эффективности, она генерирует внутреннюю легитимность.

Экстатическое движение: теория как инструмент забывания

Достижения ритуалистов в колонизации институциональных форм, созданных для потребностей фактопроизводящих наук, в отсутствие фактов, которые были бы следствием их деятельности, критиковались как изнутри, так и извне социологии. Извне, по их поводу время от времени иронизировали физики (Фейнман позаимствовал у этнографов термин «карго-культ» для потуг психологов-бихевиористов и экономистов имитировать научные эксперименты и использовать статистику[2]). Наравне с этим, существовала постоянная критика изнутри — со стороны более радикальных коллег, которые готовы были решиться на рискованный эксперимент, отказавшись от внешних форм в поиске внутреннего содержания, подлинного духа науки.

По меньшей мере со времен Вебера социологи проявляли неизменный интерес к эпистемологии, которая могла бы ответить на вопрос «что такое наука? », и именно они в лице «социальных исследований науки» стояли за развитием некоторых ее радикально-релятивистских форм. Ревизионизм такого рода настаивает, что ритуализм неправильно понимает, что такое естественные науки, копируя жанровые формы и практики, связанные с их устаревшей философией

1 К какому выводу пришла полувековая дискуссия о «культуре бедности»?

2 Он ничего не упоминал в этом контексте о социологах, зато об их усилиях на ниве освоения количественных техник спел бывший математик Том Лерер (Tom Lehrer) в одноименной песне.

[см. например, о связи модели эмпирической статьи и индуктивистской философии науки — Bazerman, 1988]. Эта эмансипация развязывает социологам руки и позволяет им легитимно практиковать новые аргументативные игры, которые, предположительно, опираются на лучшее понимание природы науки — в том числе, естественной.

Это «лучшее понимание» возникло примерно в тот же период, когда появилась регрессионная модель эмпирической статьи (1960-70-е годы). Мы будем использовать для его обозначения термин «перспективизм». «Перспективизм» представляет собой теорию науки, предполагающую, что ее развитие представляет собой конкуренцию замкнутых интеллектуальных монад, для описания которых часто используется куновское понятие «парадигм». Парадигмы несравнимы в терминах «лучше» или «хуже», или, во всяком случае, сравнение между ними может быть произведено только по частным и вненаучным критериям (решение, предлагаемое ими для какой-то практической задачи). Они предлагают языки для описания реальности и, в этом смысле, творят свою собственную реальность.[1] Дисциплины — говорит перспективизм в его мэйнстримной для социологии форме — различаются по тому, характерно ли для них доминирование одного направления или сравнительно мирное сосуществование многих. Себя социология считает образцом мирного сосуществования.

Главным жанровым продуктом этого движения является перспективистский учебник социологической теории. В социологии распространены два вида учебников. Один, вводный учебник для бакалавров, построен более-менее по модели школьного учебника по естественным наукам. Знание-для-первокурников развивается непрерывно и кумулятивно от классических оснований к сложному, современному, частному и дискуссионному, постепенно охватывая все провинции социальной жизни, от политики и экономики до се-

1 Существуют всевозможные сомнения по поводу перспективистской философии науки, особенно в том виде, в каком она проникла в социологию. Например: если текст почти механически генерируется базовой аксиоматикой или метафорикой, то как получается, что всякий следующий экспликатор, который пытается разобраться, что это за метафорика, приходит к совершенно новым выводам? Как новые дискретные языки могут появляться на свет — если всякий из них внутренне герметичен и совершенно удовлетворительно описывает реальность, то почему кто-то может отказаться от одного языка и выбрать другой — а мы все знаем, что подобное происходит сплошь и рядом? Но явные проблемы перспективистской теории науки как теории науки не мешали ее восприятию, поскольку, будет далее настаивать этот текст, она принималась не для того, чтобы быть хорошей теорией, а чтобы обосновывать самоценную практику.

мьи (российскому читателю наиболее знакомы учебники Смелзера и Гидденса). Такая модель написания учебников, однако, имеет многочисленных критиков, и, кажется, существует консенсус по поводу того, что она может считаться разве что временным компромиссом между подлинной природой социологического знания и ограниченными способностями неокрепших умов бакалавров впитать его.[1]

Имея дело с более благодарной аудиторией профессионально социализированных аспирантов, авторы предлагают текст совершенно иного рода. Учебник для аспирантов состоит из глав, посвященных отдельным мыслителям или школам. На ранних этапах его развития, длившихся примерно до первой половины 1960-х, план этих глав следовал одному из двух образцов. Или эти главы содержали критику всех рассматриваемых течений и венчались разделом, посвященным автором самому себе, где говорилось, как все обстоит на самом деле, или они встраивались в некий набросок синтетической схемы, где каждое течение занимало свой участок фронта науки. На следующем этапе (1960-80-е, хотя границы, разумеется, условны) синтетическая схема или верная теория исчезают, но сохраняются жесткие классификационные схемы, в который каждая теория занимает одну из небольшого числа ячеек (конфликт-/консенсус, микро-/макро). Наконец, на следующем этапе (1980-00-е) исчезает и классификационная сетка, а теории располагаются в приблизительно хронологическом порядке (классика — современность с Парсонсом посередине, примером может быть наиболее известный российскому читателю учебник Ритцера). Как апофеоз этого течения, в 1990-х в моду входит словарь, биографические статьи в котором расположены по алфавиту. Никакой метатеоретической логики, способной упорядочить множество подходов, не остается.

Что вызвало эту эволюцию? Если сделанные в этом тексте предположения верны, то распространение перспективизма как теории науки и как рационализации определенной жанровой формы и аргументативной игры берет начало в течение, противоположном ритуализму, которое мы назвали выше «экстатическим». Экстатическое течение ставит сходство в субъективном переживании выше сходства в видимости. Наша общекультурная мифология подсказывает, каковы субъективные ощущения гения, перевер-

1 Майкл Линч долгие годы был одним из самых последовательных критиков указанной модели [Lynch and Bogen, 1997]. Ирония ситуации, как отмечает Линч, заключается в том, что некоторые из принимающих участие в написании подобных учебников в свое время сделали себе имя, доказывая, что даже естественные науки не производят знания, которое соответствовало бы этому образцу. Линч не поясняет, как такие учебники *должны* писаться.

нувшего интеллектуальный мир. Ему надлежит быть ошеломленным, преисполненным изумления перед лицом того, как знакомые вроде бы вещи предстали в совершенно новом свете. Человечество веками бродило во мраке; элементы головоломки были перед глазами — но никто до момента озарения не понимал, как собрать их вместе. Этот опыт является частью естественнонаучной чудесности, возможно, самой важной ее частью.

На первый взгляд то, что называется социологической теорией, какой мы находим ее в перспективистском учебнике, мало пригодно для генерации переживаний новизны. Понимание, заимствованное из естественных наук, заставляет нас искать в работах любого теоретика мыслительные конструкции, которые он или она изобрели. Это предприятие до обидного редко оказывается успешным в социологии. Списки социологических «корневых метафор» («общество как механизм, организм, игра, драма или текст» [Brown, 1977] выглядят как набор штампов из посредственной литературы. Если бы Спенсеру, Дюркгейму и Парсонсу в заслугу можно было поставить только то, что они усмотрели сходство общества с живым существом, а Гоффману — что он обнаружил параллели с театром, то пришлось бы признать, что их обоих, по меньшей мере, несколько опередили. Любые метафоры подобного рода можно легко найти у Шекспира.[1]

Большинство общеобразованных студентов проходит в своей профессиональной социализации через период изумления по поводу того, как у социологов получается верить в существование специфической «социологической теории» или «социологического воображения», если все, что выдается за таковые, регулярно встречаются в классической художественной литературе. Можно ли обнаружить у Бурдье, Шюца или Гоффмана ошеломляющие озарения относительно повседневной жизни, которые отсутствуют у Пруста, Толстого и Вуди Аллена? Если такой студент, помимо общей начитанности, наделен еще и интересом к другим социальным наукам,

1 К счастью, даже в плане метафор перечисленные ограничивались двумя упомянутыми. Идентификация Гоффмана как адепта «драматургической метафоры» и вовсе строится на недоразумении — прямые отсылки к театру как к иллюстрации важных аспектов устройства общества встречаются только в двух из нескольких десятков его текстов (а именно — Goffman, 1959 и Goffman, 1961a: 188-194), причем даже здесь Гоффман не говорит, что общество устроено как театр — скорее, что театр представляет интерес (и для зрителя, и для социолога), демонстрируя в утрированной форме структуры взаимодействия, которые образуют нашу социальную жизнь в целом. Риторическая фигура, которая здесь задействована, — это не метафора (определение одной сущности в терминах другой), а синекдоха (определение целого в терминах части).

его сомнения только усугубляются. Как получается, что величайшие теоретические открытия, которые делают социологи, выглядят трюизмами по меркам соседних дисциплин? Латурианская революция, ознаменовавшая — по словам социологов — эпохальный «поворот к материальному», способна заставить коллег-историков лишь удивленно поднять брови: им попросту никогда в голову не приходило поворачивать *от* материального. Лучшее из того, что могут придумать социологи, оказывается уныло-неоригинальным для их соседей по факультету социальных наук.

Тем не менее, социологическая теория, действительно, способна подарить экстатические ощущения, но не за счет новизны содержания как таковой, а за счет аргументативных игр, для которых это содержание используется. Еще Мертон [1945] отмечал, что то, что называют социологической теорией, вопиюще не похоже на теорию в естественных науках. Это может объясняться тем, что ее основная функция прямо противоположна. Теория в естественных науках служит, чтобы помнить. Теория в социальных науках служит, чтобы забывать. Теоретики в социологии занимаются не расширением репертуара углов, под которыми можно взглянуть на общество, а их искусной изоляцией и дистилляцией, не добавлением новых ниток в клубок наших нарративов, а вытягивание из него тех, которые раньше безнадежно были переплетены с другими.[1] Это делается под знаменем достижения непротиворечивости, которая предположительно ставится под угрозу тем, что в тексте смешиваются «аксиоматики», «языки описания» или «метафорики».[2] Никто не выразил и, пожалуй, и не выразит, этого умонастроения лучше, чем Виктор Вахштайн [напр. Вахштайн, 2009].

Если моя гипотеза правильна, то причины привлекательности перспективизма кроются в его смыслогенерирующем потенциале. После того, как мы приняли перспективистское определение науки, наша профессиональная роль подразумевает обязанность смотреть на вещи с одной и только одной точки зрения. Эта точка зрения подразумевает

1 См., например, классические комментарии Поля Вена [Вен, 2003 (1971): 315-349]

2 Интересно, что сами образы, которые должны обосновать дискретность интеллектуальных монад и важность их несмешения — язык, аксиоматика или метафорика — предательски отказываются служить этой цели. Если про аксиоматику можно сказать, что математическое доказательство, не определившееся с набором постулатов, на которые оно опирается, порочно, то естественные языки не дискретны, а художественный текст, опирающийся на одну-единственную центральную метафору, неизбежно окажется крайне унылым чтением. Ссылаясь на эти образы, невозможно объяснить, почему дистилляция является необходимым действием.

приличную долю слепоты к тому, что мы видим в том же потоке событий, когда выходим из этой роли. «Социологическое воображение» носит преимущественно негативный характер. Оно представляет собой не столько способность видеть мир не как простые люди, сколько способность не видеть мир, как они. Заимствуя терминологию Гоффмана, мы можем здесь говорить о «дисциплинарной мембране», отделяющей то, что является для ситуации профессионального взаимодействия допустимой темой, от того, что таковой не является [Goffman, 1961]. Есть вещи, которые социологи с поразительной регулярностью говорят в кулуарах, но никогда — оказавшись у микрофона.

Яркие эмоции, которые сопровождают соприкосновение с тем, что затем называется «оригинальной работой», обычно происходят в момент прорыва этой мембраны — в ситуации, когда что-то всем и без того известное, но официально непризнаваемое, получает права гражданства в порядке академической интеракции и не требует больше подавления. Гоффман очевидным образом развивал социологическую версию психоаналитической теории вытеснения, в котором роль бессознательного играло индивидуальное сознание, роль либидо — спонтанная концентрация внимания на каком-то объекте, а роль сверхсознательного контроля — социальное определение ситуации, решающее, что считается официально существующим в данной ситуации. Концентрация внимания на спонтанно привлекающем внимание, но официально не существующем объекте — например, на интересном шуме за стеной в ситуации, когда участники обязаны делать вид, что они поглощены ей целиком и полностью, или на подтексте события, который полагается не замечать — создает интерактивное напряжение, что-то вроде ситуативного невроза. Напряжение может достигнуть таких пределов, что, как бы ни было возвращено в ситуацию вытесненное содержание — через некрасивую сцену со срыванием масок, или благодаря изящному остроумию — все участники ощутят облегчение. Аналогично, катарсис в теории наступает, когда что-то, прежде вытесняемое из поля профессионального зрения — материальное в социологии вещей, гордость и самоуважение в теориях идентичности, связи в сетевом анализе, подражание в неоинституциональной теории организации — получает возможность вернуться, не угрожая больше социологическому статусу события.

Эти моменты готовятся, иногда десятилетиями, в ходе особой аргументативной игры, которую перспективизм узаконивает. Правила теоретизирования, предполагающие интеллектуальную дистилляцию, функционируют как механизм институционального вытеснения. Это вытеснение неизбежно генерирует напряжение и смутное чувство интеллектуальной вины: я знаю, что самый правдивый ответ на вопрос «что здесь происходит», будет совершенно несоциологическим, и в этом смысле профессионально дискре-

дитирующим. Когда кто-то показывает, как этот ответ можно реабилитировать в качестве социологического, а прежде репрессируемая очевидность репатриируется в профессиональную ситуацию, прежний страх и вина сменяются ощущением озарения, прорыва, а также благодарности. В теоретической социологии происходят открытия, но происходят они исключительно за счет того, что нечто было предварительно старательно забыто. Дюркгейм со своим требованием объяснять социальное социальным заложил основу для будущего латурианского переворота. Марксистские и реалистически-веберианские теории, объяснявшие политику как процесс конкуренции за экономические ресурсы между дискретными группами, подготовили почву для сетевого анализа (признавшего тот очевидный факт, что дискретные группы — довольно-таки неестественная вещь), теорий коллективной идентичности (открывших страшный секрет, что важны не только экономические блага), и социологического неоинституционализма и теорий мирового общества (сознавшихся, что люди делают массу вещей не потому, что это в их интересах, а потому, что так делают те, кого принято считать образцовой фигурой). Наша модель дистиллирующего теоретизирования обеспечивает работой и нас, и потомков, которые могут с триумфом вернуться туда, откуда мы ушли. Заметив то, что не замечали наши предшественники, мы неизбежно забудем о том, что они знали. Иногда наши потомки смогут вернуться туда, где прежде были мы, и пребывать в счастливой уверенности, что являются первопроходцами.[1]

Эта форма интеллектуальной динамики уступает, однако, по своим мощностям sense-building-машины естественнонаучному образцу. Она позволяет испытать опыт чудесного, но не позволяет претендовать на участие в кумулятивном движении, прогрессе. Если языков потенциально бесконечно много, то каждый из них в свой черед обречен на забвение. Если нельзя сказать, что один язык лучше другого, то остается сказать, что их смена происходит по признаку соответствия некому неопределенному «духу времени», понятому в духе социологии знания. Это хаотичное движение вряд ли в полной мере способно удовлетворить потребность в Смысле.

---

1 Напомним еще раз, что границы между ритуалистическим и экстатическим движением отчасти условны — скорее, имеет место некий континуум. Так, регрессионная социология также нуждается во множественности точек зрения как условии для формулирования списка гипотез, которые подлежат тестированию. Соответственно, в ней также имеется подобие цикла забывания [Gans, 1993]. Читатель может отметить, что эта статья также представляет собой ярковыраженный гибрид.

Инновацией, которая позволяет хотя бы отчасти совместить перспективизм с прогрессом, является прослеживание интеллектуальных генеалогий и объединение индивидуальных мыслителей в «традиции». Прорыв мембраны в таких случаях перестает быть прорывом дисциплинарной мембраны; возвращение становится не обращением к здравому смыслу человека с улицы, а припаданием к забытым истокам. Иллюзия, которую поддерживает жанр изобретения генеалогии, состоит в том, что автор стоит на плечах своих коллег, и только или почти только на их плечах, и что в своей профессиональной роли он интеллектуально ничем не обязан себе в своей же роли человека-с-улицы. Если активное забывание позволяет переживать чудесное соприкосновение с новизной, то активное вытеснение не-социологических источников вдохновения дает возможность приписать этот опыт исключительно своей принадлежности к социологической традиции.

Функционирование описанного смыслогенерирующего механизма требует специальной работы, которая сегодня неразрывно ассоциируется с теоретической социологией: конструирования интеллектуальных генеалогий. Чтобы катарсис сопровождался еще и ощущением возвращения к истокам, чтобы каждый мог ощутить себя «участником шахматной партии, растянувшейся на столетия», требуется, чтобы каждая из перспектив была обозначена в качестве таковой, и чтобы ее существование и тождественность были прослежены до работ классиков. Характер подобной работы создает две знакомые каждому социологу (и мало кому из не-социологов) парные сущности — роль теоретика-историка, профессионального жреца этой религии, и статус классика.

Специфичность роли теоретика-историка легче всего оценить по контрасту. Художественный мир признает незыблемую границу между произведениями искусства и корпусом текстов, которые посвящены этим произведениям: рецензиями критиков, исследованиями литературоведов, биографиями, составленными историками литературы, школьными учебниками, пособиями для тех, кто хотел бы написать бестселлер и т. д. Все эти многообразные жанры имеют своих собственных профессионалов (как правило, не одних и тех же людей), склонных уважать различия между ремеслом друг друга. Аналогично, для теоретических физиков в высшей степени нетипично быть одновременно специалистами в истории или философии своей дисциплины. Подобное разделение труда отсутствует в социологической теории, где нет даже конвенциональных терминов, противопоставляющих тех, кто занят производством собственно теории, и тех, кто оценивает теории, созданные другими людьми, тех, кто пытается понять, как теории создаются, и тех, кто учит этому студентов, тех, кто пишет историю этих попы-

ток, и тех, кто популяризирует их для широкой аудитории. Об истоках интереса социологов к философии науки уже говорилось выше. Слияние теории и истории социологии универсально, и, как я пробую показать, закономерно — именно генеалогия фабрикует ощущение дисциплинарной длительности, а тексты классиков служат единственным источником легитимных инноваций в социологии.

Обратной стороной этого процесса является рождение статуса классика в том виде, в каком он нам известен — как одного из двенадцати пэров Карла Великого, к которым восходит генеалогия любого настоящего дворянина. Превращение перспективизма в доминирующее самопонимание социологии, которое можно датировать, условно, 1970-80-ми годами, стало одновременно моментом окончательной кристаллизации социологического канона.

Аргументативная игра, которая обеспечивает воспроизводство смысла ученой жизни, воплощается в одной из самых привычных всем нам разновидностей академических разговоров, которые, собственно, и составляют нашу повседневную работу. Подобно тому, как в гипотезе Гоффмана-Дюркгейма [Goffman, 1967 (1955)] повседневные взаимодействия являются религиозными церемониями, прославляющими индивида как объект поклонения современных обществ, так и повседневная практика социологов содержит в себе церемониальное измерение, прославляющее статус их дисциплины и смысл их существования. Непосредственные цели ведения этих разговоров обычно отличны от прославления чего-либо (они скорее имеют дело с дискредитацией), и то, что прославление в итоге происходит, дополнительно укрепляет их эффект. Это элемент неизвестности, видимо, очень важен, поскольку создает ощущение вмешательства внешней силы, божества или природы — короче говоря, чего-то, что отвечает за истинное положения вещей [Douglas, 1986].

Просмотрите стопку рецензий на студенческие дипломы, диссертации, статьи или монографии. Самым частым критическим упреком в них служат указания на изъяны литературных обзоров: или приписывание себе интеллектуальной генеалогии, на которую, по мнению критика, автор не имеет права («автор заблуждается, приписывая эту идею Латуру»), или, наоборот, отсутствие имен, которые обязательно должны быть включены («в действительности, он близко к тексту повторяет тезис Мертона»). Перспективистское понимание науки задает целый словарь тем для разговора, репертуар критических аргументов и набор стандартов, по которым люди судят себя и других.

Формулируя тезис немного иначе, любую дискуссию можно разложить на серию наступательных и оборонительных ходов — один критикует, другой защищается и переходит в контрнаступление [подробнее об этом подходе см. в Соколов, 2012]. Помимо этих двух

типов, однако, есть третий — предохранительные ходы, направленные на поддержание концепции происходящего. Эти ходы фактически скрываются в ходах другого рода, оборонительных или наступательных. С одной стороны, требование разобраться с генеалогией — это наступательный ход, который, однако, подразумевает веру в то, что у любого исследования должна быть какая-то генеалогия (разумеется, восходящая к классикам) и что социология зависит от ее знания в решении самых повседневных своих задач.[1] Он может реализоваться, чтобы расправиться с оппонентом или просто получить небольшое садистское удовольствие от мучений докладчика. С другой стороны, он косвенно подтверждает кумулятивность социологии и готовит опыт прорыва мембраны, который подтвердит, что картина социологического мира как мира науки справедлива.

В двойственности наступательных и предохранительных или защитных и предохранительных ходов лежит и еще один секрет устойчивости аргументативных игр. В силу своей многофункциональности, они никогда не испытывают недостатка желающих сыграть в них. Один из выводов, сделанных Фестингером и его коллегами на примере изученных ими сектантов, заключается в том, что большинству людей необходима постоянная социальная поддержка со стороны непосредственного окружения для поддержания веры во что-то, во что отказывается верить окружающий мир. Приток добровольных игроков обеспечивает то, что, даже если социологи по отдельности могут подозревать, что находятся в дебрях автофабрикации, единственная доступна им схема взаимодействия утверждает обратное. Следуя ей, они постоянно уверяют друг друга в своей истовой вере, и каждый думает, что сомнения есть проявления его частной слабости в вере.[2]

1 Разумеется, предохранительные ходы могут быть направлена и на интеллектуальное лицо конкретного собеседника, особенно когда они проявляются в воздержании от активного действия (тактичное молчание по поводу возможностей генерализации в ходе обсуждения этнографии). В этом случае они также позволяют обоим собеседникам удержаться в зоне, не предполагающей смысл самого продолжения беседы.

2 Если мы вспомним начало этого текста и то, что там говорилось о разоблачении автофабрикации как о самоисполняющемся пророчестве, то поймем, что предохранительные ходы могут предприниматься и более осознанно. Любой усомнившийся в подлинности происходящего становится перед дилеммой. Поделившись своими сомнениями с окружающими, он может инициировать последствия, которые сами по себе превратят его опасения в реальность; с другой стороны, не поделившись ими, он может завлечь их вместе с собой еще глубже в дебри самообмана. Кажется, что, эмпирически, большая часть людей выбирает здесь следование версии Золотого пра-

Готовность играть в аргументативные игры дополнительно подпитывается тем, что игры предусматривают автоматическое наказание за нарушение их ритуализированных шаблонов. Все, что не является принятой в их рамках защитой, может трактоваться как неспособность к ней и сопровождаться соответствующим унижением. Профессор-позитивист может с кровожадным торжеством требовать от аспиранта предъявить ему зависимую и независимую переменную, а также обрисовать связующие их гипотезы («Пожалуйста, сформулируйте это в виде «Если А, то Б»), и давать понять, что усматривает в уходе от ответа признаки явного слабоумия. Профессор-теоретик может с такой же кровожадностью настаивать на определении понятий, и с наслаждением третировать жертву за то, что она выдыхается уже на втором ходу («Вы говорите, что институты — это правила игр. Очень хорошо! Но можете ли Вы эксплицировать, что понимаете под «правилами?»).[1] Большинство жертв предпочитают заранее подготовиться к защите с помощью конвенциональных приемов, а не быть растерзанными.

Заключение. Все-таки, автофабрикация?

Увиденный как словарная статья, этот текст указывает, что стратегия совладания с автофабрикационными страхами в отсутствие однозначной оцениваемой эффективности действия подразумевает сочетание пяти элементов. Во-первых, большого, наделяющего Смыслом нарратива, частью которого индивид хотел бы себя видеть. Во-вторых, эксплицитной философии или философий, которые описывают, что надо делать, чтобы стать полноправным участником этой истории — например, что отличает настоящие науки и ученых от ненастоящих. Мы видели, что нарратив и эксплицитная философия — это разные сущности, и, в нашем конкретном случае, вторая несравненно более подвижна и эфемерна; нарратив о науке сохраняется уже несколько столетий, а философия меняется на наших глазах. В-третьих, есть практические правила, схватывание которых позволяет делать хоть что-то. В нашем случае это были аргументативные игры. Они не тождественны

вила («не делись сомнениями, которыми ты не хотел бы, чтобы делились с тобой»).

1 Профессора редко делают такие вещи друг с другом, но в основном за счет того, что они редко обращаются к аудитории, которая не играет в одну с ними игру. Там, где избежать соприкосновения с игроками в другие игры невозможно — как в случае с профессорами на одном факультете, — то устанавливается тактичное обоюдное невнимание, своего рода разновидность Божьего мира. Аспирантам часто везет меньше.

ни нарративам, ни философии, хотя их связь с философией как будто теснее — одно может быть оценено как соответствующее или несоответствующее другому. В-четвертых, есть внешние поведенческие формы, в которые выливается игра в каждую из игр, и которые можно сравнить с формами внешнего поведения других игроков. В-пятых, есть внутренние переживания, вербальные отчеты о которых могут быть сравнены с вербальными отчетами других игроков.

Автофабрикационный страх подразумевает, что игра по правилам — что-то, что можно научиться делать — может не быть связана с нарративом напрямую: я делаю что-то, но на самом ли деле то, что я делаю, есть X? Хотя кажется, что на этот вопрос должна отвечать эксплицитная философия X, мы видим, что она этого не делает. В реальности, кажется, философия подбирается, чтобы оправдать существование какой-то игры. Сама же игра оправдывается знаками — если участие в ней производит что-то, что я воспринимаю и ощущаю как тождественность с героями нарратива, то игра стоит свеч.

Возвращаясь к проблеме социологии знания, с которой начался этот текст; люди не могут убедить себя во всем, в чем им бы хотелось — во всяком случае, не в областях, связанных со смыслом жизни. Они могут, однако, искать и находить способы действия, которые — некими неизвестными им самим способами — производят множественные знаки, которые понимаются как знаки того, что все обстоит, как им хотелось бы. Невозможно просто убедить себя, что являешься настоящим ученым, но можно из нескольких доступных вариантов выбрать институциональные или интеллектуальные рамки поведения, которые произведут знаки, которые будут поняты как свидетельство подлинности. В нашем примере, социологи не освоили перспективистскую модель только потому что она позволяла им считать себя не хуже физиков, но они освоили эту модель, потому что она позволяла им переживать регулярные озарения, которые ассоциируются с научным трудом, и уже это позволило им считать себя не хуже физиков.

Аналогично, регрессия была не единственный единственным кандидатом на то, чтобы стать главным социологическим методом (психологи, например, в итоге, отдали предпочтение факторному анализу; а можно было также предпочесть симуляционные модели или какие-то алгоритмы анализа секвенций или распознавания образов). Однако она побуждает спонтанно воспроизводить правильные — освященные «настоящей» наукой формы, одновременно испытывая правильные чувства — писать текст нужного объема, следующий канонам, и испытывать возбуждение при его обсуждении. Это создает внутреннее ощущение правильности практики. Даже если секрет происхождения этого теплого чувства неизвестен, само по себе ощу-

щение внутренней естественности и гармонии позволяет игре воспроизводиться и брать верх над другими аргументативными играми.

Соответствующая философия выдумывается или усваивается ретроспективно, чтобы оправдать то, что люди уже делают. В конечном счете, любая теория науки ориентируется на то, чтобы объяснить уже известный образец. (Исходила ли хоть одна теория науки из того, что образцовой наукой является не физика, а, скажем, математика, зоология или экономика, а физика, наоборот, представляет собой отклоняющийся пример?). Здесь может быть два таких образца — более-менее опосредованно известная физика и собственная практика, в которых пытаются найти общий знаменатель.

Насколько возможно генерализовать эту схему за пределы социологии, на другие области, в которых люди испытывают тревогу, что, возможно, могут жить в пузыре иллюзий их собственного изготовления, но не знают, как из него выбраться? Мы видели из ссылок на историю религии, что, во всяком случае, там мы находим сходные формы валидации религиозного опыта. Кажется, что нечто подобное можно найти и в сфере классового сознания, в котором самоощущение группы как носителя высших стандартов может подкрепляться или активной практикой добродетели, или культивацией отвлеченной чувствительности.

Вернемся теперь к той стороне этого текста, которая посвящена социологии. Мы видели, что ее развитие в значительной мере подогревается попытками утвердить смысл своего продолжающегося академического существования на фоне постоянных автофабрикационных страхов. Вопрос, который мы должны задать в конце — как эти страхи влияют на ее шансы не остаться в интеллектуальной истории в качестве примера автофабрикации? Следуя тому, о чем говорилось выше, мы, безусловно, не можем утверждать, что она, в итоге, станет таковой. Может быть, будущее еще реанимирует астрологию или алхимию — кто знает? Само по себе, то обстоятельство, что интеллектуальная динамика социологии направляется соображениями sense-building, не исключает, что это избранное направление не окажется ключом к созданию Настоящей Науки. Фактически, создание Настоящей Науки, безусловно, будет самым эффективным способом генерировать ощущение принадлежности к ней. Тем не менее, выбор некоторых механизмов защиты от тревоги может привести к тому, что в долговременной перспективе поводов для тревоги будет становиться больше, а не меньше. Есть неприятное ощущение того, что интеллектуальные инновации, эффективные в генерации смысла в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе могут привести к кризису, причем не только кризису легитимности социологии в глазах внешней аудитории, но и кризису внутреннему.

С точки зрения внешней аудитории, некоторые формы аргументативных игр и философия, которая их обосновывает, оказываются отстоящими слишком далеко от того, что эта аудитория готова признать «наукой». Перспективизм служит в особенности плохую службу при взаимодействии с «человеком с улицы». Но есть и внутренние признаки того, что, разрастаясь, аргументативные игры во многих игроках порождают побочные ощущения, которые малосовместимы с концепцией общеакадемического Смысла. Достижением этих игр было то, что они освободили переживания открытия от производства фактов. Социологические дискуссии обычно успешно разворачиваются на уровне обсуждения легитимности тех или иных аргументов, без того, чтобы затрагивать истинность фактических утверждений, которые эти аргументы содержат. Обсуждение этой легитимности, помимо подтверждения или разрушения конкретной репутации, укрепляет определенный образ дисциплины. Некоторые из них — как аргументы против ложной ассоциации автора с Латуром — укрепляют определенное виденье социологической теории, требуют работы по кристаллизации и готовят тот день, когда произойдет исторический поворот от материального. Не имея никаких шансов прийти к финальному суждению, что имеет место «на самом деле», социологи, тем не менее, не рискуют остаться без тем для разговора, и характер этих разговоров таков, что участвовать в них можно с высочайшей оживленностью, подтверждающей, что их ведение имеет смысл. Участники подобного ритуала неизменно покидают сцену с ощущением, что приняли участие в вечной интеллектуальной драме противостояния «объективизма» и «субъективизма», «количественных» и «качественных» методов, «политического консерватизма» и «революционности» или более рафинированных версий чего-то подобного, попутно обменявшись последними сплетнями, проявив лояльность или, наоборот, поспособствовав падению чьего-то величия.

Но у достигаемого такими средствами ощущения чудесности имеются свои издержки.[1] Они наиболее заметны применительно к теориям, в особенности высоким. Обратной стороной дискуссионности, ритуально воспроизводящей вечный спор между теоретическими лагерями, является дефицит того качества, которое конструктивистский риторик науки Алан Гросс назвал «мотивационным реализмом» [Gross, 1990]. Объясняя, почему биологи верят в объективную научную истину, хотя и видят исследовательское ремесло в ее первозданной нечистоте, Гросс прибегает к совершен-

1 Помимо периодически возникающих неловкостей в общении с физиками и прочими аутсайдерами, которые бестактно спрашивают, неужели за *это* платят деньги.

но телеологическому аргументу. Биологи верят в науку, говорит он, поскольку только это дает им смелость порывать с идеями старших коллег. Традиционные способы мысли обладают моральным авторитетом. Чтобы решиться совершить на них покушение, не хватает одного тщеславия. Представители дисциплин, для которых истина всегда существует во множественном числе, лишь как результат применения того или иного из потенциально неограниченного числа языков, менее оригинальны, поскольку лишены этого источника внутренней силы.

Действительно, вскоре за тем, как перспективизм полностью воцаряется в учебниках социологической теории, происходит еще одно изменение: их содержание перестает обновляться. Если в 1960-х учебники быстро меняются, и свой путь в них находят очень молодые люди, то затем и набор авторов, и каталог узаконенных перспектив застывает, и в ранних 2000-х мы находим тот же список «перспектив» или «парадигм», что и в ранних 1980-х [Соколов, 2010]. Это можно объяснить сопротивлением текстов классиков, которые не позволяют вчитать в них новые идеи, но мое предположение, что отпор со стороны текстов вторичен. Важнее некоторая общая потеря интеллектуального фанатизма. Можно рискнуть профессиональной жизнью, чтобы истина восторжествовала над ложью, но кто станет жертвовать ею, чтобы к двадцати пяти перспективам прибавилась двадцать шестая? Те, кто думает, что могут обменять Божью правду на «социологическое воображение», рискуют не получить ни правды, ни воображения.

В результате эффекты новизны все более ослабевают вместе с уверенностью в своей избранности. Первые признаки наступления последствий этого можно увидеть, вновь изучая оглавления аспирантских учебников. Учебник, появившийся после 2005 и, особенно, после 2010, переживает еще одну, четвертую, трансформацию. Вначале в нем появляются главы, посвященные одновременно политическим и интеллектуальным движениям, например, феминизму. Герои таких глав часто меняются (не может не быть Гоффмана, но может не быть Батлер), однако сами они множатся. К феминизму добавляются исследования расизма и этничности, постколониализм, критика глобализации, классовое неравенство и экология. Вместо интеллектуальных течений перед нами предстают социальные движения.

Социология во многом возвращается к роли интеллектуальной аватары реформистского социального движения, из которого она некогда вышла [Shils, 1970; Kumar, 2001; Turner and Turner, 1990]. Это возвращает ее представителям смысл жизни, но этот смысл связан уже с другими, неакадемическими нарративами. Разумеется, далеко не все те, кто занят профессиональной деятельностью, зависят от нее как от источника

смысла своего существования.[1] Смысл может быть найден и за пределами профессиональной жизни — в политике или религии, например (теми, для кого эти сферы не соприкасаются с профессией, как в случае со священнослужителями или кальвинистами), или в частном обиходе. Смысл занятий профессией может быть также приложением к одному из вышеперечисленных. Возвращаясь к нашему примеру, социологи смотрят на себя, прежде всего, как на активистов или прожигателей жизни, получающих деньги за то, что доставляет им удовольствие и смотрящих на то, что они читают и пишут, как на непретенциозную художественную литературу. Это, однако, может оказаться последним шагом существования автофабрикации, после которого она или становится буквальной деятельностью, но совершенно иного рода, или сознательной фабрикацией.

Приложение

Этот текст ставил перед собой две задачи, которые, как оказалось, не слишком хорошо согласуются друг с другом. С одной стороны, он хотел сделать некоторые выводы о природе интеллектуальной динамики в социологии. С другой — намеревался ввести теоретические понятия. Однако, если то, что сказано о теоретической динамике, верно, то последняя задача приобретает несколько сомнительный характер. Действительно, во многих отношениях сам этот текст выглядит как пример церемониальной работы, которая в нем описана — возьмем хотя бы экспликацию «четырех подходов к написанию истории социологии». Если все сказанное в нем правда, то был ли в том, чтобы говорить это, хоть какой-то смысл (каламбур здесь невольный)?

Предупреждая этот вопрос, я хотел бы сказать следующее. Все сказанное не означает, — даже если мы согласимся, что церемониальное измерение теоретических или эмпирических дискуссий существует — что в них нет ничего, помимо самовозвеличивающего ритуала. Однако необходимость воспроизводить ритуал часто затрудняет достижение каких-то иных результатов. Даже кристаллизация перспектив может быть полезным делом, если, однако, перестать смотреть на нее как на что-то непосредственно связанное с совершением открытий, в чем-то подобных открытиям физиков, а воспринимать ее прежде всего как педагогическое упражнение. Приверженность социологов риторике оригинального открытия

1 Можно предположить, что доля смыслозависимых различна в разных профессиях, и что способность придать жизни смысл является одним из источников статуса [Shils, 1965] того или иного занятия.

столь велика, что ради него игнорируется альтернативное — и, по-моему, гораздо лучшее оправдание социологического теоретизирования, которого я, во всяком случае, никогда не встречал в литературе: социологи не столько изобретают что-то новое, сколько ставят производство на поток. Говоря советским языком, они внедренцы, а не изобретатели.

Социология предлагает технологию решения интеллектуальных задач, которые могут решаться и интуитивно — но с затратой значительно большего времени и значительно большего труда. Читателю, у которого найдется несколько минут, я позволю себе привести небольшой пример того, какая технология тут задействована, и какие преимущества может дать ее эксплицитное знание.

Попробуйте решить простую головоломку. На небольшом факультете социальных наук работают профессора Блэк, Уайт, Браун, Грин и Оранж, которые в один год (к вящей радости проректора по науке) выпустили каждый по монографии. Их книги посвящены социологии морали, гендерным исследованиям, криминологии, теории революций и этнометодологии, причем:

— Профессор Блэк написал рецензию на книгу по социологии морали, а профессор Грин — на книгу по этнометодологии;

— Авторы книг по гендерным исследованиям и по криминологии недавно признались друг другу, что не осилили книгу Блэка; гендерист, кроме того, открыл другу, что смысл книги Грина также остался для него тайной за семью печатями;

— Профессор Браун попросил коллег, написавших книги по социологии морали и гендеру, подписать ему экземпляры;

— Профессор Блэк втайне считает, что книга по этнометодологии свидетельствует о полной неспособности автора разобраться в предмете;

— Профессор Уайт и профессор Грин упомянуты в благодарностях в предисловии к книге по социологии морали.

Узнайте, кто написал какую книгу, если: каждый из них предполагает, что разбирается в предмете своей монографии и имеет о ней достаточно высокое мнение, никто не писал на собственную книгу рецензии, не подписывал сам себе экземпляр и не упоминал себя в благодарностях. Автор предполагает, что решение этой задачи в уме отнимет у читателя по меньшей мере 5 минут. Та же операция, проделанная в соответствии с простыми правилами, на листе бумаги, потребует не более 30 секунд — причем на способность решить ее не повлияет ни настроение, ни самочувствие, ни даже умеренное опьянение. Более того, появление в условиях, скажем, шестого профессора Пинка и его интеллектуальной биографии Маркса отнимет не более, чем 5 лишних секунд для тех, кто решает по схеме и на бумаге, но очень существенно затруднит жизнь решающим

в уме. Те, кому все эти упражнения покажутся слишком простыми, могут попробовать в уме *придумать* аналогичную задачу. При использовании процедур, изложенных в [Бизам и Герцег, 1975 (1972)], это также не займет более 2 минут. Аналогичной замены инсайта техническими приемами можно достигнуть в рассуждениях о социальной организации — экспликация теории в геометрическом виде, в виде теорем, следующих из аксиом, предлагает шаблон, освоение которого позволяет производить типовую продукцию. Эти манипуляции не столько способствуют развитию препарируемой перспективы, сколько ее распространению и популяризации (правда, обычно сопровождаемых некоторой вульгаризацией). То, что ранее было единоличным владением прекрасных умов, становится местом общего пользования. То, что раньше было под силу одному Шопенгауэру, теперь сможет и его квартирная хозяйка.

Библиография

Бизам Д., Герцег Я. (1972). *Игра и Логика*, М: Мир.

Вахштайн В. (2009) Конец социологизма. Перспективы социологии науки. *Публичная лекция Полит. Ру* (http://polit.ru/article/2009/08/06/videon_vahshtain)

Вахштайн В. (2015) *Дело о повседневности. Социология в судебных прецедентах*. Москва-Петербург: Центр гуманитарных инициатив

Вебер М. (1994) Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // Макс Вебер. *Образ общества*, Москва: Юрист: 7-38.

Вен П. (2003). *Как пишут историю. Опыт эпистемологии*. М.: Научный мир.

Латур Б. (2002) «Дайте мне лабораторию, и я переверну мир!» *Логос,* 35 (5–6): 211-242.

Рингер Ф. (2008). *Закат немецких мандаринов. Академическое сообщество в Германии, 1890-1933*. М.: Новое литературное обозрение.

Соколов М. М., Бочаров Т. Ю., Губа К. С., Сафонова М. А. (2010) Проект «Институциональная динамика, экономическая адаптация и точки интеллектуального роста в локальном академическом сообществе: петербургская социология после 1985 года». *Журнал социологии и социальной антропологии*, 13 (3), 66-82.

Соколов М. (2010) Там и здесь: Могут ли институциональные факторы объяснить состояние теоретической социологии в России? *Социологический журнал*, 1: 126-133.

Соколов М. (2012) О процессе академической (де) цивилизации. *Социологические исследования*, 8: 21-30.

Флек Л. (1999) *Возникновение и развитие научного факта. Введение в теорию стиля мышления и мыслительного коллектива*, М.: Идея-Пресс.

Франкл В. (2012). *Человек в поисках смысла*, М.: Прогресс

Abbott A. (1988) Transcending General Linear Reality. *Sociological Theory*, 6 (2): 169-186.

Abbott A. (2001) *The Chaos of Disciplines.* Chicago and London: Chicago University Press.

Bazerman C. (1988) *Shaping Written Knowledge: The Genre and Activity of the Experimental Article in Science*. Madison, Wisconsin: University of Wisconsin Press.

Brown R. (1977) *A Poetic for Sociology: Toward a Logic of Discovery for the Human Sciences.* Cambridge: Cambridge University

Camic C. (1995) Departments in Search of a Discipline. Localism and Interdisciplinary Interaction in American Sociology, 1890-1940. *Social Research*, 62 (4): 1003-1033.

Cole S. (1983) A Hierarchy of Sciences. *The American Journal of Sociology,* 89 (1): 111-139.

Collins H. M. (1975) The seven sexes: a study in the sociology of a phenomenon, or the replication of experiments in physics. *Sociology*, 9 (2): 205-224.

Collins H. M., Trevor P. (1998) *The Golem: What You Should Know about Science*. N. Y.: Cambridge University Press.

DiMaggio P., Walter P. (1983) The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Institutional Fields. *The American Sociological Review*, 48 (2): 147-160.

Douglas M. (1986) *How Institutions Think*. N. Y.: Syracuse University Press.

Gans H. (1992) Sociological Amnesia: The Noncumulation of Normal Social Science. *Sociological Forum,* 75 (4): 701-710.

Goffman E. (1959) *The Presentation of Self in Everyday Life.* N. Y.: Doubleday Anchor.

Goffman E. (1961) *Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and other Inmates*. N. Y.: Anchor Books.

Goffman E. (1955) On Face-Work: An Analysis of Ritual Elements in Social Interaction // E. Goffman. *Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior.* N. Y. k: Doubleday Anchor: 5-46.

Goffman E. (1961) Fun in Games // E. Goffman. *Encounters: Two Studies in the Sociology of Interaction.* Indianapolis: Bobbs-Merrill: 1-84.

Goia D. A. et al. (1994) Symbolism and Strategic Change in Academia: The Dynamics of Sensemaking and Influence. *Organization Science*: 5 (3): 363-383.

Gouldner A. (1957) Cosmopolitans and Locals: Toward an Analysis of Latent Social Roles. *Administrative Science Quarterly*, 2 (3): 281-306; 2 (4): 444-480.

Gross A. (1990) *The Rhetoric of Science.* Cambridge, MA & London: Harvard University Press.

Festinger L., Riecken H., Schachter S.. (1956) *When Prophecy Fails*. N. Y.: Harper & Row.

Hutchinson J. (1987) Cultural nationalism, elite mobility and nation-building. Communitarian politics in Modern Ireland. *The British Journal of Sociology*, 38 (4): 482-501.

Latour B., Woolgar S. (1979) *Laboratory Life: The Social Construction of Scientific Facts.* London and Beverley Hills: Sage.

Lynch M. (1995) *Scientific Practice and Ordinary Action. Ethnomethodology and Social Studies of Science.* Cambridge University Press.

Lynch M., Bogen D. (1997) Sociology's Asociological «Core». *American Sociological Review*, 62 (3): 481-493.

MacKenzie D., Fabian M., Siu L. (2008) *Do Economists Make Markets?: On the Performativity of Economics*. Princeton University Press.

Merton R. K. (1945) Sociological Theories. *American Journal of Sociology*, 50 (6): 462-473.

Meyer J., Rowan B. (1977) Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. *The American Journal of Sociology,* 83 (2): 340-363.

Meyer J., Schofer E. (2005) The Worldwide Expansion of Higher Education in the Twentieth Century. *American Sociological Review*, 70 (6):898-920.

Kumar K. (2001) Sociology and the Englishness of English Social Theory. *Sociological theory*, 19 (1): 41-64.

Podolny J. M. (2005) *Status Signals. A Sociological Study of Market Competition*. Princeton University Press.

Shils E. (1965) Charisma, Order and Status. *American Sociological Review,* 30 (2): 199-213.

Shils E. (1970) Tradition, Ecology, and Institution in the History of Sociology. *Daedalus*, 99 (4): 760-825.

Tarr P. (1982) *The Social Transformation of American Medicine*. N. Y.: Basic Books.

Turner S., Turner J. (1990) *The Impossible Science. An Institutional Analysis of American Sociology*. Sage.

References

Abbott A. (1988) Transcending General Linear Reality. *Sociological Theory*, 6 (2): 169–186.

Abbott A. (2001) *The Chaos of Disciplines.* Chicago and London: Chicago University Press.

Bazerman C. (1988) *Shaping Written Knowledge: The Genre and Activity of the Experimental Article in Science*. Madison, Wisconsin: University of Wisconsin Press.

Bizam D., Hertzog Y. (1972). Igra i Logika [Game and Logic]. M.: Mir.

Brown R. (1977) *A Poetic for Sociology: Toward a Logic of Discovery for the Human Sciences.* Cambridge: Cambridge University

Camic C. (1995) Departments in Search of a Discipline. Localism and Interdisciplinary Interaction in American Sociology, 1890–1940. *Social Research*, 62 (4): 1003–1033.

Cole S. (1983) A Hierarchy of Sciences. *The American Journal of Sociology,* 89 (1): 111–139.

Collins H. M. (1975) The seven sexes: a study in the sociology of a phenomenon, or the replication of experiments in physics. *Sociology*, 9 (2): 205–224.

Collins H. M., Trevor P. (1998) *The Golem: What You Should Know about Science*. N.Y.: Cambridge University Press.

DiMaggio P., Walter P. (1983) The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Institutional Fields. *The American Sociological Review*, 48 (2): 147–160.

Douglas M. (1986) *How Institutions Think*. N.Y.: Syracuse University Press.

Festinger L., Riecken H., Schachter S.. (1956) *When Prophecy Fails*. N.Y.: Harper & Row.

Fleck L. (1999) Vozniknovenie i razvitie nauchnogo fakta [Genesis and development of a scientific fact]. M.: Ideia-Press.

Frankl V. (1990) Chelovek v poiskakh smysla [Man's Search for Meaning]. M.: Smysl.

Gans H. (1992) Sociological Amnesia: The Noncumulation of Normal Social Science. *Sociological Forum*, 75 (4): 701–710.

Goffman E. (1955) On Face-Work: An Analysis of Ritual Elements in Social Interaction // E. Goffman. *Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior.* N.Y.k: Doubleday Anchor: 5–46.

Goffman E. (1959) *The Presentation of Self in Everyday Life.* N.Y.: Doubleday Anchor.

Goffman E. (1961) *Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and other Inmates*. N.Y.: Anchor Books.

Goffman E. (1961) Fun in Games // E. Goffman. *Encounters: Two Studies in the Sociology of Interaction.* Indianapolis: Bobbs-Merrill: 1–84.

Goia D.A. et al. (1994) Symbolism and Strategic Change in Academia: The Dynamics of Sensemaking and Influence. *Organization Science*: 5(3): 363–383.

Gouldner A. (1957) Cosmopolitans and Locals: Toward an Analysis of Latent Social Roles. *Administrative Science Quarterly*, 2 (3): 281–306; 2 (4): 444–480.

Gross A. (1990) *The Rhetoric of Science.* Cambridge, MA & London: Harvard University Press.

Hutchinson J. (1987) Cultural nationalism, elite mobility and nation-building. Communitarian politics in Modern Ireland. *The British Journal of Sociology*, 38 (4): 482–501.

Kumar K. (2001) Sociology and the Englishness of English Social Theory. *Sociological theory*, 19 (1): 41–64.

Latour B. (2002) «Daite mne laboratoriiu, i ia perevernu mir!» [(12) Give me a laboratory and I will move the world application]. Logos, 35 (5–6): 211–242.

Latour B., Woolgar S. (1979) *Laboratory Life: The Social Construction of Scientific Facts.* London and Beverley Hills: Sage.

Lynch M. (1995) *Scientific Practice and Ordinary Action. Ethnomethodology and Social Studies of Science.* Cambridge University Press.

Lynch M., Bogen D. (1997) Sociology's Asociological "Core". *American Sociological Review*, 62 (3): 481–493.

MacKenzie D., Fabian M., Siu L. (2008) *Do Economists Make Markets?: On the Performativity of Economics*. Princeton University Press.

Merton R. K. (1945) Sociological Theories. *American Journal of Sociology*, 50 (6): 462–473.

Meyer J., Rowan B. (1977) Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. *The American Journal of Sociology,* 83 (2): 340–363.

Meyer J., Schofer E. (2005) The Worldwide Expansion of Higher Education in the Twentieth Century. *American Sociological Review*, 70 (6):898-920.

Podolny J. M. (2005) *Status Signals. A Sociological Study of Market Competition*. Princeton University Press.

Ringer F. (2008). Zakat nemetskikh mandarinov. Akademicheskoe soobshchestvo v Germanii, 1890-1933 [The decline of the german mandarins: the german academic community, 1890-1933]. M.: Novoe literaturnoe obozrenie.

Shils E. (1965) Charisma, Order and Status. *American Sociological Review,* 30 (2): 199–213.

Shils E. (1970) Tradition, Ecology, and Institution in the History of Sociology. *Daedalus*, 99 (4): 760–825.

Sokolov M. (2010) Tam i zdes': Mogut li institutsional'nye faktory ob'iasnit' sostoianie teoreticheskoi sotsiologii v Rossii? [Here and there: Can institutional factors explain condition of theoretical sociology in Russia?]. Sotsiologicheskii zhurnal, 1: 126–133.

Sokolov M. (2012) O protsesse akademicheskoi (de)tsivilizatsii [On process of academic (de)civilisation]. Sotsiologicheskie issledovaniia, 8: 21–30.

Sokolov M.M., Bocharov T.Iu., Guba K.S., Safonova M.A. (2010) Proekt 'Institutsional'naia dinamika, ekonomicheskaia adaptatsiia i tochki intellektual'nogo rosta v lokal'nom akademicheskom soobshchestve: peterburgskaia sotsiologiia posle 1985 goda' [Institutional Dynamics, Economical Adaptation and Points of Intellectual Growth in Local Academic Community: Sociology in St.Petersburg after 1985' Project]. Zhurnal sotsiologii i sotsial'noi antropologii, 13 (3), 66–82.

Tarr P. (1982) *The Social Transformation of American Medicine*. N.Y.: Basic Books.

Turner S., Turner J. (1990) *The Impossible Science. An Institutional Analysis of American Sociology*. Sage.

Vakhshtayn V. (2009) Konets sotsiologizma. Perspektivy sotsiologii nauki [End of Sociologism. Perspectives of Sociology]. Publichnaia lektsiia Polit.Ru [Public Lecture at Polit.ru]. (http://polit.ru/article/2009/08/06/videon_vahshtain)

Vakhshtayn V. (2015) Delo o povsednevnosti. Sotsiologiia v sudebnykh pretsedentakh [Case of Everyday Life. Sociology in Judicial Practice]. Moskva-Peterburg: Tsentr gumanitarnykh initsiativ

Veyne P. (2003). Kak pishut istoriiu. Opyt epistemologii [Comment on écrit l'histoire. Essai d'épistémologie]. M.: Nauchnyi mir.

Weber M. (1994) Teoriia stupenei i napravlenii religioznogo nepriiatiia mira [Theorie der Stufen und Richtungen religiuser Weltablehnung] // Obraz obshchestva [Selected Works]. Moskva: Iurist: 7–38.